ПЯТНАДЦАТЬ СТУПЕНЕЙ

Сакро-Монте.
Путь через память



Алексей Кукушкин

Алексей Кукушкин

Пятнадцать ступеней

«Автор»
2026

Кукушкин А. Н.

Пятнадцать ступеней / А. Н. Кукушкин — «Автор», 2026

Два незнакомца встречаются на древней тропе в итальянских Альпах. У Макса — контракт, который нужно подписать, и отец, который звонит, чтобы сказать: «Мы всё решим».У красавицы Вики — шрам на шее, который она прячет под шёлком, и голос в голове, который шепчет: «Улыбнись».Пятнадцать капелл - испытаний, где каждый шаг, это выбор: остаться прежним или отпустить. Треснувший экран телефона. Камень в кармане, который не хочется выбрасывать. Резинка для волос, положенная тайком. Запах ладана и мокрой шерсти. Все будет важно в этом таинственном месте.Они не спасут друг друга, не дадут обещаний, не полюбят друг друга, по крайней мере, не так, как показывают в кино, но они научатся дышать в одном ритме, может быть, этого достаточно?Атмосферная психологическая драма о том, как сделать первый шаг в тишине. Для тех, кто устал от историй, где всё решается одним объятием.

© Кукушкин А. Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Точка сборки 5
Глава 2. Первая арка 10
Глава 3. Капелла 1: Благовещение 15
Глава 4. КАПЕЛЛА 2: ПОСЕЩЕНИЕ 20
Глава 5. КАПЕЛЛА 3: РОЖДЕСТВО 25
Глава 6. КАПЕЛЛА 4: СРЕТЕНИЕ 30
Глава 7. КАПЕЛЛА 5: ОБРЕТЕНИЕ ОТРОКА 34
Гл 38
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Алексей Кукушкин
Пятнадцать ступеней

Глава 1. Точка сборки

Карусель в терминале M1 остановилась в 18:07. Макс знал точное время, потому что смотрел на часы, когда лента дёрнулась и встала. Последняя сумка уехала минут сорок назад — чужая, синяя, с обмотанной плёнкой ручкой. С тех пор лента не двигалась. Над ней горело табло: Consegna terminata (Выдача завершена).

Он стоял ещё восемь минут, не потому, что ждал, а потому что уйти означало согласиться. Пахло холодным воздухом из решёток и чем-то ещё — сладковатым, дезодорированным, как в туалете дорогого ресторана, где убирают каждые двадцать минут. Чемодан из шкуры нильского крокодила так и не вышел.

Макс поправил на запястье Patek Philippe. Стальной браслет холодил запястье, и под ним, у самой косточки, натёрло за день. Он подцепил браслет мизинцем, оттянул, дал коже подышать. Тиканье, которое он обычно не слышал, сейчас стало отчётливым.

Мужчина пошёл к стойке Lost &Found. За ней сидела женщина лет пятидесяти, с облезшим лаком на ногтях и телефоном, спрятанным под столешницу так, что видно только движение большого пальца.

— Багаж не пришёл, — сказал Макс.

Она не подняла глаз сразу. Допечатала. Потом подняла.

— Рейс?

— Из Цюриха.

— Бирка есть?

Он протянул квитанцию. Она посмотрела на неё две секунды и начала заполнять форму. Ручка не писала. Она постучала ею о стол, поковыряла стержнем в углу бланка, ручка начала писать.

— Описание чемодана?

— Чёрный. Кожа.

— Марка?

Он назвал. Женщина не знала такой. Записала на слух, с ошибкой.

— Внутри есть предметы первой необходимости? Медикаменты? Документы?

— Нет.

— Тогда компенсация по стандарту. Двадцать пять евро в сутки, до пяти суток.

Макс стоял и смотрел на её ноготь. На большом, где лак сошёл полоской посередине. Чемодан стоил как её годовая зарплата. Он мог купить этот аэропорт целиком, вернее, долю в операторе, вернее, он знал людей, которые знали людей и всё это лежало сейчас где-то между Цюрихом и Мальпенсой в виде строки в базе данных, и женщина с облезшим лаком писала ему двадцать пять евро в сутки.

В висках у него зародилось жужжание. Тонкое, на одной ноте, будто за костью проснулась и замахала крыльями жирная моль. Он сунул руку во внутренний карман. Конверт на месте: плотная бумага, сургуч, оттиск, который он знал с детства. Отец передал его утром через секретаря, и Макс не вскрыл. Он трогал его сейчас просто чтобы проверить, что тот ещё там.

Телефон завибрировал. Виктор Аркадьевич. Макс посмотрел на экран секунды три. Женщина дописывала адрес. Он принял вызов.

— Максим. — Голос ровный, без шероховатости, без дыхания. Отец всегда говорил так, будто читал вслух уже согласованный текст. — Багаж — это мелочь.

Макс молчал.

— Встречу я отменил. Возвращайся, мы всё решим.

Мы всё решим — форма, в которой у него никогда не было голоса.

И тут потянуло озоном. Резко, металлически, будто рядом ударила молния, и под озоном — дешёвая махорка, едкая, с той сладостью, которая остаётся в подъезде, где курят на площадке между этажами. Отец курил кубинские. Всю жизнь, а в Мальпенсе не курили нигде.

Макс обернулся. За спиной кофейня, стойка с прессой, мужчина с ребёнком на руках. Никого, кто курил бы, кто пах бы так. Челюсть свело, зубы сомкнулись, и в суставе у уха что-то щёлкнуло.

— Я не вернусь, — сказал он.

Голос вышел выше, чем он рассчитывал. Он убрал телефон от уха и нажал отбой. Палец промахнулся по красному кружку с первого раза.

— Синьор, — женщина протягивала ему бланк. — Здесь подпись и вот это вам, копия.

Он взял ручку. Почерк вышел не его. Первая буква пошла с рывком, и он надавил сильнее, и стержень порвал бумагу в одном месте. Женщина посмотрела на прорыв, но ничего не сказала. Макс сложил копию вчетверо и сунул во внутренний карман, положил к конверту. Две бумажные сущности легли рядом.

Свет в зоне прилёта падал косо и не давал теней. Обворожительная девушка Вика шла и чувствовала это кожей лица — что её освещают так, что некуда деться. Люди казались плоскими. Она сама себе, наверное, тоже.

Рукава толстовки натянуты на ладони. Она держала так с самой посадки, и в кулаках стало влажно. Правая рука потрогала изящную шею, пальцы нашли край чёрного платка, подтянули на миллиметр, отпустили. Проверка, как проверяют, заперта ли дверь, вернувшись с половины лестницы.

У выхода стоял мужчина с чемоданом на колёсиках и пытался одновременно держать телефон плечом и в руке стаканчик. Стакан поехал. Вика поймала его раньше, чем он выпал, — рефлексы у неё быстрые и не всегда свои.

— Ой, спасибо! — мужчина улыбнулся. — Вы меня спасли.

И она мило улыбнулась в ответ. Подбородок чуть выше, губы приоткрыты, взгляд на полсекунды дольше нужного. Всё сложилось само, за долю секунды, без команды. Мышцы лица знали что им делать.

Мужчина улыбнулся шире и задержался взглядом на её шее, потом на груди, потом опять на лице.

— Вы одна?

— Да, — сказала Вика.

Улыбка ещё держалась на её лице, когда она уже отворачивалась. Она почувствовала, как улыбка снимается, и под ней лицо было чужое. Она пошла быстрее.

У кофейни стоял человек в пиджаке цвета грозового неба. Пиджак дорогой и помятый правильно, там, где мнётся от того, что человек сидел за рулём. Воротник рубашки расстёгнут на две половинки. Он не смотрел на табло. Вика прошла в семи метрах и не повернула головы. Ей не нужно было поворачивать.

Ноздри обожгло. Мускус и ваниль, приторно, дурманяще, и под ними — перегар, вчерашний, въевшийся в кожу, а не в дыхание. Она перестала дышать носом.

В сумке завибрировал телефон. Она не достала. Она знала ритм: два коротких, пауза, один длинный. Архивный чат. Тот, который она заархивировала, а не удалила, потому что удалить — значит признать, что было. Экран светился сквозь ткань сумки, она видела свечение боковым зрением и шла.

Челюсть свело. Скулы напряглись, и лицо само пошло в ту же улыбку, что и с мужчиной со стаканом. Вика свернула в коридор и толкнула дверь.

Кабинка крайняя. Внутри пахло хлоркой и чем-то кислым под ней. Ободок мокрый — кто-то мыл, или кто-то садился, или и то и другое. Она села на него.

Подогнула ноги, поставила ботинки на края, чтобы не касаться пола. Так было надо. Пол чужой, и всё, что чужое, не должно касаться подошв, потому что подошвы потом идут в номер, а в номере она снимает ботинки и ставит их у кровати. Керамика тянула холод из бёдер сквозь джинсы. Она обхватила колени, ногти сквозь ткань вошли в кожу, и это нормально, это было её.

Снаружи, у раковин, зазвенели голоса, разговаривали две женщины.

— …нет, я говорю, если он задержится ещё на час, мы просто не успеем.

— А ресторан?

— Ресторан подождёт. Я ему написала, что мы будем в девять.

Смех, стеклянный, беззаботный, на два голоса. Сушилка для рук взвыла и оборвалась.

Вика сидела и считала плитку на стене напротив. Одиннадцать в ширину. Шов у седьмой замазан неправильно, серым по белому. Она подумала, что надо достать телефон и посмотреть, во сколько поезд. Не достала.

Дёрнули ручку двери. Она перестала дышать совсем. Ручка отпустилась, шаги ушли к соседней кабинке.

— …здесь занято, — сказала одна из женщин кому-то.

Вика сидела ещё минуту, слушая, как её сердце бьётся где-то в горле, и ждала, пока ноги перестанут быть ватными.

Поезд на Варесе тронулся с лязгом. Вика вошла в купе, глядя в пол. Рюкзак она держала на груди обеими руками, и в рюкзаке, в глубине, лежал свёрнутый белый шерстяной шарф — единственное, что она сунула из дома не думая.

Максим уже сидел у окна. Он встал и с размаху впечатал сумку на верхнюю полку, сетка звякнула. Он сел обратно и вытянул ноги так, что колено оказалось в сантиметрах от её колена, и не убрал. Из-под сиденья тянуло сухим горячим. Отопитель дышал ей в щиколотки, как больная собака. Колёса считали стыки: та-так, та-так.

Макс достал из сумки бутылку горной воды. Стекло в испарине. Он сам открутил крышку, чтобы ей не возиться и поставил на стол.

— Держи, а то ты выглядишь так, будто сейчас упадёшь.

Вика подняла глаза. В полумраке они были чёрные, не карие, не ореховые, а чёрные, как вода в колодце, куда бросили монету и не дождались всплеска. Она посмотрела не на воду, а на его руку, которая всё ещё держала горлышко.

— Убери. Я не подачка.

Голос тихий и почти вежливый. Макс почувствовал, как лицо само складывается в ухмылку — тёплую, надёжную, как старая мозоль.

На столе между ними лежал её телефон, погасший. Экран расколот от угла к центру и перехвачен полоской лейкопластыря — не для красоты, чтобы стекло не сыпалось. Он кивнул на телефон.

— Судя по айфону, ты привыкла, что за тебя платят. Расслабься, я не из тех, кто ищет компанию за деньги.

Вика перестала двигаться, не замерла — именно перестала, вся, сразу, до ресниц. Тишина в купе стала плотной. Жар поднялся к лицу, воротник сделался тесен. Колёса перестукивали: та-так, та-так.

Он понял, что перегнул, в ту же секунду, как понимают, что пролил кипяток. Три слога. Всего три слога, и воздух снова станет воздухом. Язык прилип к нёбу.

В дверь постучали. Проводник — молодой, в форменной жилете поверх рубашки, с подносом, на котором стояли два стакана в подстаканниках.

— Чай? — сказал он по-итальянски, потом добавил по-английски: — Tea?

Макс дёрнулся.

— Sì. Due.

Он полез в карман за бумажником, достал купюру, протянул, не глядя на номинал. Проводник отсчитал сдачу, поставил стаканы на стол, сказал что-то про то, что до Варесе сорок минут, и ушёл, прикрыв дверь. Всё заняло полторы минуты.

Вика сидела прямо и смотрела в окно, и на её лице сияла вежливая полуулыбка, которую она держала для проводников, для стюардесс, для всех, кто входит в замкнутое пространство с подносом. Когда дверь закрылась, улыбка ушла.

Один стакан стоял перед ней. Пар поднимался и наклонялся от сквозняка из-под окна. Она не притронулась. Макс взял свой, обжёг пальцы, поставил обратно, подул на них.

Он посмотрел на её стакан и промолчал.

Вика отвернулась к окну. В чёрном стекле поверх бегущих огней висело её отражение — плоское, никому не принадлежащее и тогда её телефон проснулся. Без звука, без вибрации. Просто под лейкопластырем разлился мутный свет, и в паутине трещин выплыли цифры.

18:41.

Макс медленно перевёл взгляд на запястье. Сталь. Царапина на безеле. 18:41. Он посмотрел на её телефон, потом опять на часы, потом на неё.

Вика не смотрела ни на телефон, ни на него. Она смотрела в окно, и в окне шёл дождь, и капли ложились на стекло косо, как гвозди. За стеклом проплыла платформа без названия. Пахло остывшим кофе и мокрой шерстью. В висках у него тонко, на одной ноте, зажужжало.

Отель отремонтирован наполовину. Верхние два этажа — новые окна, дерево, латунь, в люксе Макса панорамное стекло во всю стену. Ниже третьего этажа ремонт останавливался: та же лестница, но обои другие, и на площадке пахло штукатуркой и пылью. Вика жила на втором.

Макс стоял у стекла, прижавшись лбом к холодному. Виски жёг пищевод, оставляя торф и дым. Чемодан привезли в девять — один, чёрный, с биркой Lost &Found на ручке и с вмятиной на углу, которой раньше не было. Он стоял в углу нераскрытый. На столе вибрировал телефон. Четырнадцать пропущенных. Макс не повернул головы.

Он достал конверт, посмотрел на сургуч. Оттиск знакомый: тот же, что на документах, которые отец давал ему подписывать в восемнадцать, в двадцать два, в двадцать девять. Макс повертел конверт в пальцах и положил обратно во внутренний карман, рядом с копией бланка про багаж. Он сжал левую руку в кулак. Браслет часов стиснул кость.

Этажом ниже Вика стояла на балкончике в полтора шага. Здесь воздух другой: мокрая листва, фритюр из траттории через двор, чей-то кондиционер капал на козырёк снизу, ровно, каждые две секунды. Она натянула рукав толстовки на ладонь, правой нащупала край платка, провела подушечками по шёлку, потом по холодному железу перил. Разница весьма приятная.

Телефон она всё-таки достала. Открыла браузер, посмотрела, сколько стоит билет обратно на завтра. Сорок минут листала, увеличивая и уменьшая масштаб, потому что трещина шла ровно через кнопку выбора даты. Потом закрыла браузер и открыла банковское приложение. Посмотрела цифру и закрыла.

В ноздрях ещё жил мускус с ванилью. Она поднесла запястье к носу и понюхала кожу — там присутствовал только её пот и мыло из отеля, тонкое, с волоском внутри, которое она использовала утром. Не помогло.

Вика запрокинула голову. Ветер сменился: потянуло сверху, резко, морозно, озоном и старой хвоей. Тучи над Варесе расползлись, лунный свет выхватил склон.

Вика увидела тропу — извилистую, мощёную булыжником, уходящую вверх по крутому. И вдоль неё, на равных расстояниях, почти математически выверенных, горели окна. Капеллы. Пятнадцать штук, она прочитала днём в буклете на ресепшене и не запомнила. Они светились тёплым, янтарным, и оттого, что расстояния казались одинаковые, будто, не окна, а что-то расставленное кем-то нарочно.

Макс оторвал взгляд от бокала. Он поднял голову, и взгляд, скользнув по фасаду, зацепился за тёмную нишу балкона этажом ниже. Вика в этот момент перестала вжимать подбородок в воротник и подняла глаза. Он видел бледный овал её лица. Она видела тёмную неподвижную фигуру за стеклом и то, как в его руке наклонился бокал.

Никто не отвёл взгляд.

Жужжание в висках у Макса оборвалось. Вика поймала себя на том, что дышит.

Ветер стих. Капеллы продолжали гореть. Макс поставил бокал на подоконник и не задёрнул штору. Вика стояла, держась за перила, и не пошла внутрь.

В обоих номерах стало холодно, но никто не пошёл закрывать.

Глава 2. Первая арка

Автобус до горы не шёл до десяти. Так сказала женщина в кассе, не поднимая головы, и Макс посмотрел на табло, где действительно висело 10:00, потом на телефон, где 8:04. За её стеклом играло радио — что-то про любовь, с духовыми, и она прибавила громкость, когда он начал спрашивать про маршрут, и потом убавила, когда закончил.

— Пешком сорок минут до первой часовни, — сказала она. — По тропе, там стоят указатели.

У выхода стоял щит под оргстеклом, выгоревшим до желтизны. На нём красовалась гора с пятнадцатью точками и подписанные времена: до первой — сорок минут, до пятой — два часа, до Санктуария — четыре с чем-то, последняя цифра стёрлась, кто-то процарапал по стеклу стрелку и слово, которое Макс не разобрал. Рядом прикрутили деревянный ящик с прорезью и висячим замком, и замок покрывала ржавчина, и прорезь забило сухим листом.

Он кивнул женщине и пошёл. Вика вышла из отеля через семь минут после него и догнала на первом повороте, потому что он шёл быстро и неправильно, а она шла медленно и по дороге.

Утро выдалось холодное, плюс два, и от этого мокрое. Воздух пах прелой хвоей и мокрым мхом, и от этого пахло не лесом, а подвалом, где хранят яблоки. Тропа уходила вверх булыжником — неровным, вытертым до блеска, местами уложенным ступенями, местами просто насыпанным, и по краям лежала прошлогодняя хвоя, склеившаяся в рыжие пласты.

Кроссовки Макса ехали. Гладкая кожаная подошва, купленная в Милане за то, что она гладкая, на мокром камне работала как лыжа. Он поставил ногу боком, потом попробовал наступать на пятку, потом перестал думать об этом и просто шёл, напрягая всё, что можно напрячь. Кашемировый свитер он надел ради силуэта; теперь свитер висел на лопатках мокрой тряпкой и не грел, а под ним по позвоночнику шла холодная полоса.

Мимо прошла женщина в флисовой куртке, с палками, в шапке с помпоном. Она сказала «buongiorno» (доброе утро), не сбавляя темпа, и обогнала их за полминуты. Макс проводил её взглядом и отметил, что она не смотрит под ноги — вообще, ни разу, и что палки у неё стучат по камню в двух местах, всегда в одних и тех же, как будто она знает, где именно ставить.

В трёх шагах позади шла Вика. Толстовка на ней одета мешковатая, но на подъёме ткань прилипала к спине, и он видел линию позвоночника и то, как под тканью ходят лопатки. Прядь пепельных волос выбилась из пучка и лежала на шее, у самого края чёрного платка. Он смотрел на эту прядь дольше, чем нужно, и разозлился.

Он остановился резко, взявшись за ствол сосны. Кора мокрила и шершавила, и в ладонь сразу набилась хвоя. Он поднял левую руку: стальной браслет съехал, обнажив полоску бледной кожи под ним, циферблат показывал 8:12. Он достал телефон. 8:05.

Семь минут.

Он поймал себя на том, что последние двести метров шёл быстрее, чтобы успеть. К восьми двенадцати. К встрече, которой не было, с человеком, которого не существовало, в месте, где никто его не ждал.

Он защёлкнул браслет обратно и вытер ладонь о брюки. Хвоя не стряхнулась, две иголки остались воткнутыми в кожу у основания большого пальца, и он их выковырял ногтем другой руки, и они промокли и размякли.

— Если устала, можешь подождать у подножия, — сказал он через плечо. — Я не нанимал тебя носильщиком.

Вика не повернула головы. Она просто сменила траекторию — обошла его по дуге, ступив в сырую траву у края, где было суше и где нога не ехала, и пошла дальше.

— Я иду в своём темпе, — сказала она. — Твой это не темп, а спазм).

Макс остался стоять с хвоёй в ладони. К скамье через двадцать метров, у поворота, прибили жестяную табличку в память о ком-то, кто умер в две тысячи одиннадцатом, и под табличкой стояла бутылка с водой, и в воде лежали три гвоздики, и гвоздики побурели. Он смотрел на них и не понимал, кто меняет воду и меняет ли вообще.

Первая арка стояла на повороте, где тропа выравнивалась на десять метров. Камень вытерли до блеска, и на левой стороне, на высоте плеча, шла тёмная полоса — там, где сто лет касались руками. Под сводом, в нише, бил источник: вода шла из чугунной трубы, вделанной в кладку, и падала в каменное корыто с гулким металлическим звоном, и звон этот звучал не музыкально, а как если бы капало в ведро.

На краю корыта лежала кружка — пластиковая, с отломанной ручкой, вся в известковом налёте. Кто-то оставил её тут, наверное, годы назад, и теперь она стала частью источника, как мох. На дне, под водой, лежали монеты: мелочь, коричневатая, местами зелёная, слипшаяся в одном месте в кучку. Макс смотрел на кучку и прикидывал, сколько там, и не мог прикинуть, и его это раздражало.

У корыта стоял старик в брезентовой куртке и наполнял две полуторалитровые бутылки. Он ставил их по очереди под трубу, ждал, закручивал, ставил в сумку-тележку на колёсиках. У его ноги сидела собака, мелкая, рыжая, в попоне, и смотрела на воду, но не пила. Старик перекрестился, взял тележку за ручку и пошёл вниз, и собака пошла за ним, и ни на кого из них он не посмотрел.

Макс расстегнул рюкзак и достал флягу. Серебро, потёртое у горлышка, на боку гравировка — инициалы и дата закрытия сделки, подарок партнёров на тридцать один год. Он тогда сказал «спасибо, очень удобно» и с тех пор носил, потому что фляга стоила примерно как чужая месячная зарплата и её было бы неловко потерять. Он открутил пробку. Из горлышка не пахнуло ничем.

Он запрокинул голову и сделал большой глоток. Вода показалась идеально прохладной, без вкуса, без запаха, без единого изъяна — та самая, за которую платят четыре евро в аэропорту. Она прошла по языку и исчезла. Не утолила, а именно исчезла, оставив на нёбе ощущение, будто он прополоскал рот и сплюнул. Он сделал ещё глоток, побольше, и получил то же самое, и поморщился, и вылил остаток на камни, и камни потемнели и через полминуты высохли.

Вика подошла к корыту. Она посмотрела на пластиковую кружку с отломанной ручкой, потом на трубу, потом опять на кружку — и не взяла её. Опустилась на колени прямо в мокрое, у края, где мох, легла ладонями на камень и подставила лицо под струю.

Макс замер.

Она пила из трубы, как пьют животные: жадно, захлёбываясь, подставляя рот под напор. Вода била ей в губы и разлеталась, текла по подбородку, за воротник толстовки, на камень. Яремная ямка на шее ходила быстро. Она оторвалась с хриплым всхлипом, вытерла рот рукавом, и рукав потемнел. Губы у неё распухли и сделались тёмно-красными, зрачки расширились, и она моргала, как моргают, когда резко выходишь на свет.

— Ты только что пила из лужи, — сказал Макс. — Там легионеллы. Тебя через час вывернет.

Вика подняла на него взгляд снизу вверх и не ответила сразу, потому что не могла: воздух в лёгких шёл слишком широко, и в этом звучало что-то похожее на опьянение. Вода била по языку ржавчиной, известью и сырой землёй, и он хотел сказать «мерзость», но не сказал, потому что вместе со вкусом в голову пришла ясность, каких у неё не было с самого аэропорта, а потом тело налилось. Плечи, бёдра, икры — всё сразу стало весить больше, и она почувствовала каждую мышцу отдельно, как чувствуют мебель при переезде. Ноги приковывало к камню. Она стояла и впервые за месяц планировала следующий шаг: куда поставить ногу, чтобы не поехало.

— Твоя вода мёртвая, — сказала она наконец.

Макс усмехнулся.

— Это дистиллированная горная вода двойной очистки.

— Ага, — сказала Вика. — Она просто занимает место.

Она поднялась, держась за корыто, и осталась стоять, потому что колени не сразу взяли вес. Макс смотрел на её мокрые губы и на воду, которая ещё капала с подбородка на толстовку, и злился на то, что смотрит. Он спрятал флягу в рюкзак и застегнул молнию до конца, дважды, потому что с первого раза она разошлась.

На дне корыта лежали монеты. Вика тоже их увидела и смотрела секунды три. Она подумала о том, что у неё в кармане куртки лежит семнадцать евро мелочью, и что она пересчитывала их вчера в отеле, и что если бросить сюда одну монету, то станет шестнадцать, и легче не будет. Отвернулась.

За аркой, на каменной скамье, сидел человек. Макс заметил его не сразу — сначала туфли. Белые, кожаные, не спортивные, не грязные, не мокрые, без единой складки на сгибе, будто их надели здесь и не ходили в них ни шага. На булыжной тропе, где всё в бурой пыли и хвое, они выглядели как вещь, которую принесли в пакете и положили.

Человек облачился в тёмно-синий костюм-тройку, жилет выглажен, на коленях сложенная газета. Он не потел. При плюс двух у всех изо рта шёл пар: Макс видел свой, видел Викин, видел, как пар идёт от собаки старика, уже метрах в тридцати внизу. У человека на скамье пара не было.

Макс шагнул и остановился. Потянуло озоном — тем самым, из терминала, электрическим, будто рядом разряд, — и под ним дешёвый табак, едкий, с той подъездной сладостью. Челюсть у Макса свело. Левая рука налилась и перестала ему принадлежать: он сжал кулак, ногти вошли в ладонь, и он понял, что не чувствует, насколько сильно.

Человек поднял глаза. Они казались плоскими, как у фотографии глаз.

— Синьор, — сказал он мягко. — У подножия стоит вертолёт.

Макс молчал.

— Я могу организовать трансфер к Санктуарию. Четыре часа боли вы сэкономите.

Он сказал это и замолчал. Не наклонился вперёд, не добавил ничего, не стал смотреть в глаза пристальнее. Просто ждал, положив ладони на газету, и стало понятно, что если Макс скажет «нет», он не начнёт убеждать — он кивнёт и посмотрит мимо, на тропу, где идут следующие.

На тыльную сторону его ладони села муха. Она села и не двигалась: не тёрла лапки, не пробовала крылья, просто сидела, как сидят на камне. Макс смотрел на муху и не мог отвести взгляд, и в какой-то момент понял, что считает её ноги.

Человек повернул голову к Вике. Плавно, без рывка.

— Синьорина.

Он не повысил голоса, он его понизил, и от этого сделалось хуже.

— Есть таблетка. Один глоток воды — и вы забудете, как вас зовут. Забудете подъём и мужчину в аэропорту.

Вика перестала дышать.

— Вам не будет больно, — сказал он. — Вообще.

Пальцы у неё сами пошли к горлу и вцепились в чёрный шёлк так, что побелели костяшки. Она стояла и слушала, и вот что пугало: она считала. Не соглашалась — считала. Сколько дней она бы не помнила. Один вечер или всё сразу. Всё сразу было бы дешевле, и она успела прикинуть, насколько, прежде чем поняла, что прикидывает.

Макс шагнул вперёд и заслонил её собой. Левая рука, минуту назад чужая, теперь горела.

— Спасибо, — сказал Макс. — Я предпочитаю платить за свои ошибки сам.

Голос дрогнул на середине, и он тут же добавил, чтобы прикрыть:

— А вертолёты — для трусов.

Человек не обиделся и не улыбнулся. Он посмотрел на Макса ещё секунду и сложил газету пополам. На сгибе газеты Макс успел прочитать дату — сегодняшнюю — и три буквы заголовка, и не успел больше, потому что бумага легла. Муха с ладони не улетела: она осталась сидеть, когда он опустил руку на колено.

Где-то далеко, за гребнем, застрекотал винт.

Ветер ударил в лицо и выдул озон. Макс пошёл дальше, не оборачиваясь, и на третьем шаге схватил Вику за локоть, чтобы потянуть мимо скамьи. Он не думал — рука сделала сама, как делает, когда человек рядом с бортиком платформы.

Вика выдернула локоть.

— Не трогай меня.

Она сказала это негромко и почти без выражения, и от этого он убрал руку быстрее, чем если бы она закричала. Она пошла вперёд, обогнала его, ускорила шаг. Они прошли под аркой, скамья осталась за спиной, и Макс не обернулся, но кожа между лопаток знала, что человек сидит и смотрит и что муха всё ещё у него на руке.

Он достал флягу и глотнул, хотя не хотел пить. Пусто. Он сплюнул на камни и вытер рот тыльной стороной ладони, и на ладони осталась слюна, и он вытер её о брюки, и получилось мокро и грязно одновременно.

— Ты испугалась бомжа в костюме? — сказал он. — Серьёзно? Я думал, ты видела виды похуже.

Вика шла впереди и не отвечала. Он достал телефон, посмотрел на верхний угол экрана: сигнала не было, вместо палочек стоял крестик. Он поднял руку с телефоном повыше, повёл ей в сторону долины, подождал. Крестик остался.

— Сбавь темп, — сказал он. — И поправь толстовку, ты выглядишь нелепо.

Она остановилась. Подошва скрипнула по мокрому булыжнику. Вика развернулась, и Макс увидел, что у неё горят щёки и приоткрыт рот и что дышит она ртом, потому что носом не хватает.

— Я испугалась не его, — сказала она.

Она сделала шаг ближе. От неё шёл жар — тот живой, потный жар человека, который тащил себя вверх два часа, и он перебивал всё, что осталось от озона.

— Я испугалась того, что он предложил.

Макс молчал.

— Я стояла и считала, — сказала Вика. — Сколько бы я сэкономила, если бы согласилась.

Она помолчала, и в паузе слышалось, как за гребнем работает винт, ровно, без изменения тона.

— А ты боишься, что без денег и без часов ты пустое место. Иди вперёд. Я догоню.

Он открыл рот. Воздух застрял где-то под кадыком, и наружу не вышло ничего — ни «сама ты», ни «пошла ты», ни одного из тех трёх-четырёх ответов, которые он держал наготове всю жизнь и которые всегда работали, потому что после них разговор заканчивался. Он закрыл рот и пошёл.

Мимо, вниз, спускалась группа — четверо, в дождевиках, с палками. Один пел негромко, себе под нос, и остальные не подхватывали. Они прижались к склону, пропуская Макса, и он кивнул им, и они кивнули в ответ, и никто не остановился, и через десять секунд пение стало не слышно.

Через сто метров Вика села на камень и стала перешнуровывать кроссовок. Она распустила оба узла и завязала заново, и левый вышел косой, и она посмотрела на него и оставила как есть. Макс прошёл ещё шагов двадцать и остановился. Он не решал ждать — ноги остановились сами, и он стоял, глядя вверх, где тропа поворачивала и уходила в молоко. Туман там стоял плотный, ровный, без просветов, и не двигался.

Он услышал, как она встала и пошла. Шаги сзади. Он привык считать: раз-два-три, и её шаг. Теперь между его шагом и её шагом помещалось десять.

Макс пошёл вверх и не стал сбавлять, чтобы она догнала.

Глава 3. Капелла 1: Благовещение

Туман кончился у двери, не рассеялся, а кончился, как заканчивается коридор: десять метров молока, потом каменный откос, потом деревянная дверь в проёме, и за дверью сухой воздух. Макс дошёл первым и придержал створку, потому что иначе она била по косяку, и Вика прошла рядом, и десять шагов, которые она держала всю дорогу от скамьи, схлопнулись в полтора.

Внутри пахло не так, как снаружи. Ладан, но старый, въевшийся в штукатурку, поверх него воск — не горящий, а остывший сто лет назад, сладковатый и прогорклый одновременно и под всем этим ещё что-то бытовое: сырая тряпка, которой недавно мыли пол. Пол ещё оставался влажным, у стены стояло ведро, и в ведре торчала швабра, и на полу от ведра шла тёмная полоса, где протащили.

Справа от входа, на железной стойке, горели свечи. Макс подошёл и понял, что они электрические: пластиковые колбочки с оранжевыми светодиодами внутри, три ряда по двенадцать. Одна не горела. Рядом висела табличка на трёх языках, под ней наклейка с квадратным кодом и надписью Offerta libera (свободное пожертвование). Он достал телефон, навёл, экран показал загрузку, потом выдал страницу с полем для суммы и кнопкой. Минимальная сумма — два евро. Сигнала не было, страница висела с серым прямоугольником там, где должна была находиться иконка банка. Макс убрал телефон.

В глубине, у левой стены, сидела женщина в тёмном пальто и вязала. Не молилась, не смотрела на алтарь, а просто вязала, серый шарф или носок, и спицы постукивали ровно, как метроном. Перед ней на скамейке лежал пакет из супермаркета, из пакета торчал багет, обёрнутый в бумагу. Она подняла глаза, когда они вошли, кивнула и вернулась к вязанию.

На ограждении висел ламинированный лист, углы загнулись. Макс прочитал по-английски, что скульптуры сделаны в семнадцатом веке, что реставрация проводилась в тысяча девятьсот каком-то, и что фотографировать со вспышкой нельзя. Рядом, на гвозде, висела книга в дерматиновом переплёте — книга отзывов, — и к ней на верёвочке привязали шариковую ручку. Он открыл на середине: три страницы пустые, на четвёртой кто-то нарисовал домик с трубой и подписал именем, и имя оказалось детским, с большой буквой А, и буква А вышла написанной зеркально.

В центре, под низким сводом, стояла терракотовая группа. Архангел протягивал свиток, Мария склонилась над деревянным мольбертом, книга на мольберте оказалась раскрытой, страница расписана готическим текстом, которого Макс не читал. Свет шёл сверху, из двух узких окон с решёткой, и лежал на глине двумя пыльными полосами. На подоконнике лежала мёртвая муха, брюшком вверх, и рядом с ней — вторая, живая, которая ходила по кругу и возвращалась в ту же точку.

Макс подошёл ближе к архангелу. Он смотрел на лицо и узнавал его, как узнают человека в аэропорту, когда ещё не вспомнили откуда: тонкие сжатые губы, аккуратный пробор, складка между бровями, которая появляется не от гнева, а от привычки говорить «это не обсуждается» вежливым тоном.

Это оказался старший партнёр юридической фирмы его отца.

Тот, кто приходил в дом с коньяком в подарочной коробке и говорил с матерью о погоде, а через неделю в газетах писали про завод, и про то, что завод закрыт, и про людей, которые вышли к проходной с картонками. Он подарил Максу шахматы в девяносто восьмом — хорошие, каменные, с бархатной подложкой. Он тогда сказал: «Ты хорошо считаешь, Максим. Это редкое качество». Максу исполнилось двенадцать, и он весь вечер ходил и повторял это про себя, и мать спросила, что случилось, и он сказал «ничего».

Воздух в лёгких сделался тяжёлым.

Свиток в руках архангела поплыл. Глина размягчилась, побелела, стала бумагой — не пергаментом, а бумагой, тонкой, копировальной, с продавленным следом шариковой ручки. Макс узнал бланк: это оказалась копия формы про потерянный багаж, та, которую он подписал вчера в Мальпенсе, у стойки, где женщина с облезшим лаком писала ему двадцать пять евро в сутки. Внизу, там, где он выводил подпись, бумагу прорвал стержень — дырка с загнутыми краями.

Он сунул руку во внутренний карман. Конверт лежал там, плотный, с сургучом, тёплый от тела; рядом лежала сложенная вчетверо копия, он положил её туда вчера и с тех пор не доставал. Он держал пальцы на конверте и смотрел на глиняную копию в руках ангела, и не мог понять, которая из двух настоящая, и это оказалось первым, что его по-настоящему испугало.

Под рубашкой что-то холодило кожу. Крестик, серебряный, на тонкой цепочке, маленький, с потёртым распятием, где лицо стёрлось до овала. Мать надела его на Макса в двенадцать, перед экзаменами, и он не снял, потому что в тот год закрылась первая сделка, где он участвовал сам. Один раз, в двадцать шесть, он снял крестик перед встречей в Женеве — просто чтобы рубашка легла ровнее, — и встреча сорвалась, и он сидел в машине и думал не о том, что ошибся в оценке, а о том, что снял. С тех пор не снимал.

Сейчас металл жёг. Он вытащил крестик из-под рубашки, зажал в кулаке, цепочка натянулась и врезалась в шею сзади.

В голове не оказалось голоса. Оказалась формулировка, и она приходила целыми пунктами, готовыми, как приходят пункты договора, которые ты читал столько раз, что можешь воспроизвести с закрытыми глазами: Подписание не влечёт обязательств сверх перечисленных. Отказ от подъёма не является отказом от прав. Возврат в офис считается исполнением. Боль подлежит компенсации в денежной форме. И ниже, тем же шрифтом, но мельче: Подписывающий подтверждает, что подписывал ранее.

Макс стоял. По виску шло что-то мокрое, он потёр большим пальцем — пот, не кровь. Он разжал кулак: на ладони остался вдавленный след, перекрестье и четыре точки от концов. Он не потянулся к бумаге. Он просто смотрел, как в двух метрах от него ангел с лицом юриста держит копию его вчерашней подписи, и ждал, что сейчас придётся что-то сделать, и не знал что. Спицы у стены постукивали.

Вика смотрела на Марию. Сначала просто на глину: на то, как вылеплены пальцы, на облезшую позолоту по краю платья, на трещину у левого виска, замазанную кем-то неаккуратно, поверх старого слоя, и замазка оказалась другого оттенка, светлее, и от этого трещина читалась лучше, чем если бы её не трогали.

Потом свет из окна лёг на лицо, и лицо стало белым. Не белым как краска, а белым как экран, на котором ничего нет, как простыня в больнице, которую только что натянули и ещё не помяли. Ни одной морщины, ни тени под глазами, ни следа того, что человек когда-то щурился, или морщился, или спал лицом в подушку. Вика смотрела и чувствовала, как под толстовкой становится мокро между лопатками.

Глина поплыла. Черты сдвинулись, потекли, собрались заново, и она узнала подбородок — свой, и линию носа, которая не нравилась ей с четырнадцати, и то, как левая бровь чуть выше правой. Это оказалась она, но не сегодняшняя: девочка лет тринадцати, с ещё не выщипанными бровями, с прыщиком у крыла носа, который она замазывала тональником матери и от которого получалось хуже.

Вика помнила тот день. Она пошла на день рождения к однокласснице и надела зелёное, потому что зелёное оказалось единственным чистым. Ей сказали, что зелёное её полнит, и она весь вечер стояла у стены с колой и держала стакан двумя руками, чтобы оказалось чем занять руки, и стакан оказался холодным и мокрым, и она переставляла пальцы, чтобы не отпечатывались следы.

Лицо в глине смотрело на неё и обещало. Оно не говорило словами, оно предлагало состояние: вот так можно, вот так чисто, ни одного вечера, ни одной камеры, ни одного мужчины, который смотрит и прикидывает. Ни Дениса. Ни того, что оказалось после Дениса. Ни шрама. Просто останься здесь, в этом.

Под чёрным платком кожа вспыхнула. Шрам на шее, тонкий, розовый, поперёк, начал зудеть — не по поверхности, а изнутри, как чешется заживающее, когда его натирают. Вика повела плечом, чтобы ткань не касалась, и не помогло. Шёлк, который она завязывала утром в отеле двойным узлом, стал жёстким и тёр ровно по линии рубца, и с каждым вдохом тёр сильнее.

Она расстегнула верхнюю пуговицу толстовки, чтобы стало легче, и легче не стало, потому что дело оказалось не в толстовке. Пальцы пошли к узлу платка сами. Она сделала шаг к статуе. Пол оказался влажным, подошва не скрипнула, а прошла тихо, и от этой тишины сделалось хуже: получалось, что она подкрадывается.

Ей хотелось положить ладонь на глиняное плечо. Просто положить. Оно оказалось бы холодным и шершавым, и она бы стояла так, пока не перестанет существовать. Она сделала второй шаг. Между ней и статуей оставалось меньше метра, и она видела, что у глиняной девочки на мизинце отколота крошечная щербинка, и что кто-то замазывал её и промахнулся, и от этого хотелось плакать — не от святости, а от того, что кто-то чинил и не смог.

Вика подняла руку.

Макс увидел её спину. Она стояла неестественно прямо, с поднятой рукой, и не двигалась, и он понял, что она не здесь.

Он видел такое один раз: на переговорах в Роттердаме человек напротив замолчал на середине фразы, и глаза у него стали как стекло, и через сорок секунд он сказал «извините» и вышел, и потом объяснили, что у него оказалась паническая атака. Макс тогда спросил, надо ли перенести раунд, и ему сказали, что не надо, и они продолжили без него, и он подписал всё, что нужно.

— Вика, — сказал он.

Она не повернулась. Он сказал громче, и его голос вернулся от свода, и женщина у стены подняла голову от вязания. Вика не шевельнулась.

Макс шагнул вперёд, и пол качнулся. Он посмотрел на статую: на белое лицо, которое оказалось лицом Вики и не оказалось им, потому что у Вики на носу веснушки и она их ненавидит, а тут не оказалось ничего. Он поднял ногу и пнул подставку.

Удар вышел глухой и неправильный — не звонкий, как в кино, а мясистый, потому что он оказался в кроссовке на гладкой подошве, и нога поехала, и он ударил скорее голеностопом, чем стопой. Больно стало ему. Подставка сдвинулась на сантиметр и встала; поверхность лица пошла трещинами, не как стекло, а как штукатурка, у которой отваливается намёт, и белизна сползла, и осталась обычная раскрашенная глина с пустыми глазницами и вековой пылью в них.

Женщина у стены встала.

— Signore! (сударь!) — сказала она резко. — Non si tocca! (не трогать!)

Она пошла к нему, быстрая для своих лет, с вязанием в одной руке, и спица свисала на нитке. Макс поднял ладони.

— Mi scusi (извините). Я не… — он не знал, как сказать «она уходила» по-итальянски, и сказал по-английски: — She wasn't… something was wrong. (Она не… что-то оказалось не так.)

Женщина посмотрела на Вику, та стояла с поднятой рукой и не отвечала. Женщина что-то сказала себе под нос, обошла Макса, взяла Вику за руку — просто взяла, как берут за руку человека на переходе, — и опустила её вниз. Потом посмотрела на подставку, на трещину, снова сказала что-то себе и вернулась к скамейке. Села, подняла вязание, спицы застучали.

У Макса в ушах щёлкнуло, как в самолёте. Давление упало, и потянуло озоном — тем самым, из терминала, из-под арки, электрическим, с металлическим краем, и под ним дешёвый табак с подъездной сладостью. Он обернулся к двери: дверь оказалась открытой, за дверью камень и мокрый булыжник, и никого.

Из угла, где стояло ведро со шваброй, шёл шорох, как шуршит сухая бумага, если её тронуть. Голос не звучал в воздухе, он оказался в костях черепа, в зубах, в пломбе на нижней шестёрке: Отдай. Тебе не нужно это нести.

Челюсть свело. Левая рука налилась и перестала отвечать: он попробовал сжать кулак и не понял, сжал ли. Макс отступил, правая подошва наступила на что-то твёрдое, круглое, и оно покатилось. Он чуть не упал, выставил правую руку, удержался, потом присел и стал искать глазами.

На плите, в сантиметрах от шва, лежала монета.

Он поднял её правой. Левая висела. Серебро, тяжелее, чем должно оказаться по размеру: он привык взвешивать вещи в руке, и тут вес не сходился с диаметром. Профиль оказался стёрт — не как у монеты, которая ходила по рукам, а как у медали, которую носили в кармане и трогали большим пальцем годами: рельеф сглажен до намёка, видно только, что оказалась голова и оказалась надпись. Гурт ребристый, целый, в углублениях зелёная окись.

Макс понюхал монету. Пахло медью и чужими карманами — тем запахом, который есть у денег, если их долго держать в кулаке. Он вспомнил монеты в корыте под аркой, коричневую слипшуюся кучку. Эта оказалась не такой: плита вокруг оказалась влажной, он видел мокрый след от подошвы, а монета лежала сухая, и на ней не оказалось ни капли.

Шёпот в зубах оборвался. Не стих, а оборвался, как обрывается звук, если выдернуть шнур. Стало тихо: спицы стучали, где-то за стеной капало из трубы в ведро.

Макс повертел монету в пальцах и коротко рассмеялся — два сухих такта, будто кашлянул.

— Смотри, — сказал он хрипло. — Кто-то обронил мелочь. Сувенир.

Он ждал, что сработает. Не сработало. Правая рука мелко тряслась, монета плясала на ладони, и её край постукивал по стальному браслету часов — дробно, неровно, не в такт ничему.

Он посмотрел на часы: 9:41. Достал телефон правой, большим пальцем разблокировал: 9:32. Девять. Не семь — девять. Он смотрел на две цифры и понимал, что где-то между аркой и этой дверью его личные семь минут стали девятью, и что он не знает, куда делись ещё две, и что он опять куда-то опаздывает.

Вика вышла из оцепенения, как отходит нога, если её отсидеть: сначала иголки, потом жар, потом стыд. Она обнаружила, что стоит с поднятой рукой, что рука затекла и что рядом нет женщины, которая держала её за пальцы, — женщина уже сидела и вязала. Вика опустила руку. Белое лицо в глине кончилось: осталась статуя с трещиной на щеке и пылью в глазнице, и Вика посмотрела на трещину и подумала, что это, кажется, сделал он.

Она опустила глаза на свои кроссовки. Треснувшая резина у носка, грязь в протекторе, задубевшая. Шнурок на левом завязан криво — она сама перешнуровывала на тропе, минут двадцать назад, и узел вышел косой, и она тогда посмотрела на него и оставила как есть. По щекам шло две слезы, ровно, без всхлипа; одна дошла до угла губ, и Вика почувствовала соль, и это оказалось единственным, что сейчас оказалось её. Она вытерла лицо рукавом.

Макс стоял в трёх шагах и смотрел. Он видел мокрую дорожку под глазами, и то, как у неё дёргается нижняя губа, и веснушки, проступившие через грязь, и то, как она стоит — чуть боком, спрятав левую руку в рукав. В голове у него уже стояла фраза, он знал её наизусть, потому что произносил сто раз: что-нибудь про то, что тут пыльно и вообще всё это средневековый аттракцион, что-нибудь лёгкое, ядовитое, из тех, что снимают с человека обязанность подойти.

И вместе с фразой пришёл запах табака, и следом гладкая бумага, сухой шелест страницы, ручка, повёрнутая к нему грифом вперёд. Подпиши, и это перестанет оказаться твоим.

Макс сжал монету. Гурт вошёл в мякоть ладони четырьмя тупыми зубцами, и боль оказалась почти облегчением, потому что она оказалась его. Он не подошёл и не сказал ничего. Он сунул правую руку в карман джинсов и разжал пальцы там, внутри, не глядя, как прячут то, что не собираешься показывать. Выбросить оказалось проще — оставить на плите, рядом со швом, где нашёл, пройти налегке. Он оставил. Металл лёг на бедро и на первом же шаге толкнулся в кость.

Женщина у стены проводила их глазами, когда они пошли к двери, и ничего не сказала, и спицы стучали. Макс придержал створку, потому что она била по косяку, Вика прошла, он вышел следом, и дверь захлопнулась сама — тяжело, с железным скрипом, разбухшая от сырости.

Слева от двери, на уровне глаз, прибили жестяную табличку, эмаль местами сошла, и буквы читались не все: I MISTERO GAUDIOSO — L'ANNUNCIAZIONE (Первая радостная тайна — Благовещение).

Макс прочитал и пошёл дальше. Впереди булыжник уходил вверх и через двадцать метров входил в молоко. Лямки рюкзака лежали на плечах, как лежали; он не почувствовал разницы. Разница оказалась в кармане: там, где раньше не оказалось ничего, теперь на каждом шаге что-то било по бедру.

За гребнем, далеко, ровно и терпеливо застрекотал винт. Вика запахнула платок, узел завязала тот же, двойной, и он лёг поверх шрама, и шрам под ним молчал. Она пошла первой. На следующем повороте Макс обогнал её, не глядя, и она не стала ускоряться, и он ушёл вперёд шагов на восемь, и она видела его спину и то, как он на ходу трёт правую ладонь о брюки.

Глава 4. КАПЕЛЛА 2: ПОСЕЩЕНИЕ

Вика догнала его у двери второй капеллы и обогнала, потому что он остановился читать табличку, а она не остановилась. Внутри стояла духота после тропы, и пахло сырой глиной — не обожжённой, а именно сырой, как в мастерской, — и поверх этого увядшими лилиями. Лилии стояли слева, в жестяном ведре, три штуки, вода стояла мутная, и один стебель переломился и висел, и головка лежала на краю ведра. Кто-то принёс их вчера или позавчера и не поменял воду.

У входа стоял ящик — металлический, крашеный в серый, с прорезью и окошком, за окошком счётчик и лампа. На боку табличка, продавленная пальцами за много лет: Per illuminazione inserire 1 euro (для освещения опустите 1 евро). Ниже, маркером, кто-то дописал по-английски: 2 minutes (2 минуты).

Макс достал бумажник. Евро нашлось не сразу: мелочь он всегда отдавал официантам, потому что мелочь в кармане звенит, а звенящий карман выдаёт человека, который не пользуется водителем.

Монета пошла в прорезь с сухим щелчком, внутри что-то вздохнуло, и над терракотой зажглись четыре лампы. Свет ложился плохо, желтоватый, с гудением, он лёг на группу сверху и сбоку, и от этого у глиняных лиц появились тени в глазницах, которых при дневном свете не было. Счётчик в окошке показывал двойку и начал отсчитывать.

В центре стояли две женщины, склонившиеся друг к другу: Мария и Елизавета, встреча. На ограждении висел ламинированный лист на трёх языках, углы загнулись, и Вика прочитала по-английски, что скульптуры сделаны в семнадцатом веке, что реставрация проводилась в тысяча девятьсот каком-то и что фотографировать со вспышкой нельзя. Она подняла глаза на лица. Свет гудел.

Елизавета выглядела старой, с вылепленными морщинами, с приоткрытым ртом, и Вика смотрела на этот рот и вдруг перестала слышать гул ламп. Глина стала пористой — не как камень, а как кожа, которую долго мочили и высушили, и она пошла мелкой сеткой. Морщины углубились, в них собралась тень, и тень оказалась не от лампы.

Это оказалась бабушка, не та, что в гробу — в гробу она лежала гладкая, чужая, с накрашенными губами, и Вика тогда подумала, что её накрасили как манекен, а та, что за две недели до: маленькая, сгорбленная, с шеей толщиной в два пальца, и на шее синие вены, и на губах чёрная корка, потому что она уже не пила, а губы трескались, и она их облизывала, и получалось хуже.

Вика приносила ей воду в чашке с носиком, детской, из шкафа, и бабушка пила, и половина текла мимо, и надо было подкладывать полотенце, и полотенце к вечеру пахло кислым.

Вика пошатнулась и перевела взгляд на Марию, и та тоже менялась. Плечи глиняной женщины расширились, и как бы ссутулились, в них появлялось то, что Вика знала лучше всего: поза человека, который стоит в проёме и не уходит. Мать стояла так всегда — между Викой и закрытой дверью, спиной к двери, лицом к ней, и говорила ровным голосом про уроки, про суп, про то, что надо надеть шапку. Голос звучал ровно, а плечи вот такие.

Один раз дверь открылась за её спиной, и мать сделала полшага назад, чтобы стать шире. Вика помнила только это движение — полшага назад, чтобы стать шире, — и то, что тем же ровным голосом, которым говорила про суп, мать сказала не смотреть и она не смотрела, и потом много лет была себе за это благодарна.

Лампы гудели. Глиняные веки бабушки дрогнули и опустились, и из-под них пошло не слезами: тёмное, густое выступило и поползло по щеке медленно, как ползёт кровь из неглубокого пореза, если порез на щеке и голова наклонена. Пошло по расписной глазури, оставляя ржавый жирный след.

Вика захотела вдохнуть и не смогла. Чёрный платок на шее сжался — не как ткань, а как ремень, который затягивают, положив колено на спину. Шёлк вошёл в яремную ямку, лёг поперёк шрама, и шрам под ним вспыхнул, и она поняла, что не может ни вдохнуть, ни повернуть голову. Во рту стало железно.

Она рванула руку к рюкзаку. Молния пошла туго, палец сорвался, она дёрнула сильнее, и внутри, вместо пластиковой бутылки, пальцы нашли мягкое. Белый шарф лежал сверху, свёрнутый, и он весил — не как шерсть, а как мешок с песком, который уронили тебе на плечо. Вика сжала его, и вес пошёл в сустав, и рука сама потянулась вниз, и в голове сформулировалось без слов: достань, разверни, замотайся, стань белой, стань невидимой.

Она отдёрнула руку. Рюкзак остался открыт, шарф лежал внутри и весил. Она несла его от самого дома и не могла объяснить зачем; сейчас, в этой капелле, где старуха плакала кровью, а мать делала полшага назад, он оставался единственным, что тянуло её вниз.

Капля сорвалась с глиняного подбородка и упала на носок её кроссовка — на левый, тот, где шнурок завязали криво. Вика посмотрела на тёмную точку на серой резине. Вторая капля легла на плиту. Счётчик в ящике у входа щёлкнул, и лампы погасли.

Макс стоял у задней стены и смотрел на фреску, пока горел свет. Он не выбирал: фреска стояла на его стороне, статуи — на её, и он смотрел туда, где было ближе. Задний план, тень арок, мужские фигуры; Иосиф, Захария — он не знал, кто есть кто, и табличку не читал. Один старик, сгорбленный, с бородой до пола, с впалыми щеками.

Макс моргнул. Штукатурка сгустилась, старик стал объёмным, и Макс узнал посадку головы: так сидят люди, которые никогда не поворачиваются к собеседнику целиком, только глазами, потому что тело занято чем-то более важным. Дед. Основатель. Тот, чьё имя значилось на гранитной плите у входа в бизнес-центр и на стипендии для одарённых детей.

Он умер, когда Максу исполнилось девятнадцать. На похоронах оказалось четыреста человек. Макс не плакал и потом три дня ел только рис, потому что рис можно было варить, не думая.

Старик на фреске улыбнулся; зубы желтели, сточенные — у деда свои держались до конца, он не ставил импланты из принципа и говорил, что человек должен изнашиваться целиком.

В костлявой руке вместо свитка блеснула перьевая ручка. Макс узнал ручку: она лежала в кабинете на столе, в подставке, и её нельзя было брать, и он взял однажды в семь лет и получил по руке линейкой, и это звучало не как жестокость, это звучало как педагогика. Этой ручкой подписывали акты. Он видел, как подписывали: дед ставил подпись, не читая, потому что читали до него другие, и потом клал ручку в подставку грифом вправо, всегда вправо.

Вокруг фигуры, в тенях от складок одежды, что-то шевелилось. Макс пригляделся и увидел людей — не призраков, просто людей, серых, полупрозрачных, как выходит на плохой проекции. Женщина с сумкой из супермаркета, и сумку держали полной, и она держала её за обе ручки, как держат, когда несут домой на всю неделю. Мужчина в рабочей куртке с логотипом, который Макс помнил, потому что логотип потом убрали со всех зданий. Парень лет двадцати пяти, в толстовке, с руками в карманах.

Они не кричали. Они стояли и смотрели на деда, и у всех оказалось одно и то же выражение — не гнев, а недоумение, как у людей, которым сказали, что рейс отменён, и они не могут понять, куда теперь идти. Дед подмигнул Максу, и в голове щёлкнуло — сухо, коротко, как отходит ригель в сейфе.

Мы выжили.

Свет погас. Счётчик щёлкнул, лампы кончились, фреска ушла в серое, старик перестал быть объёмным, и остались люди в темноте, и они всё ещё стояли. Макс сунул руку в карман джинсов: монета лежала на месте, холодная, сухая, с ребристым гуртом. Он достал бумажник, нашёл ещё одну евро и пошёл к ящику.

Монета пошла в прорезь, щёлкнуло, внутри вздохнуло. Лампы не зажглись. Он подождал, постучал по окошку — счётчик показывал ноль. И тогда он увидел то, чего не увидел сразу: на уголок ящика наклеили обрывок изоленты, отклеившийся с одной стороны, и на изоленте маркером написали Guasto (неисправно). Букву G стёрли пальцами, читалось только остаточное. Он смотрел на изоленту и понимал, что она висела там и в первый раз, и что первую евро он опустил в неисправный ящик, и что свет горел не из-за неё.

— Он взял евро, — сказал Макс.

— Ага, — сказала Вика от ограждения.

— И не включил.

Она подошла, посмотрела на изоленту, потом на него. Лицо у неё побелело до штукатурки, а на носке левого кроссовка темнела точка.

— Может, там лимит, — сказала она. — Или лампочки.

Она сказала это ровно, бытовым голосом. Макс не взял нормальное объяснение.

— Мой дед построил всё это, — сказал он.

Слова вышли громче, чем он хотел, в капелле они ударились о свод и вернулись. Вика не спросила, при чём тут дед.

— Он оказался жестоким, — сказал Макс. — Безжалостным, но он выжил. Сильные всегда выживают.

Он услышал последнюю фразу со стороны и узнал её. Он произносил её в интервью для делового издания, в тосте на юбилее отца, один раз — стажёру, который спросил про сокращения. Слово в слово, с той же паузой перед «всегда».

В кармане монета начала греться. Не сразу: сначала просто перестала казаться холодной, потом стала тёплой, потом горячей, и он сжал её через ткань, и гурт вошёл в подушечки пальцев.

Вика смотрела на него. В её глазах не оказалось ни злости, ни жалости.

— У бабушки в конце почернела нога, — сказала она.

Макс моргнул.

— Что?

— Нога. Пальцы, потом стопа, потом до колена. Она ходила, ела, разговаривала. Врач сказал слово, я запомнила. Некроз.

Она помолчала. За дверью, снаружи, кто-то смеялся — живые люди, туристы, у них оказалась вода и удобная обувь.

— Она оказалась живой, а нога уже мёртвая и это не значит, что нога сильная, а значит, что до неё не доходит кровь.

Ветер шёл из открытой двери, и от неё пахло сырой железистой водой — той, из трубы под аркой, которой Вика умылась час назад.

— Твой дед не выжил, — сказала она. — Он просто перестал чувствовать. Ты носишь в себе мертвеца и называешь это жизнью.

Макс открыл рот. Он перебрал четыре ответа и закрыл рот.

Монета в кулаке уже не казалась горячей — она жгла. Он не разжал пальцы. Вика повернулась и пошла к двери, и он остался стоять у ящика, и слышал, как её шаги ушли наружу и вниз по ступеням, и потом стал слышать только своё дыхание.

Он вышел через полминуты. Она стояла уже метрах в десяти выше, на повороте, и не оборачивалась.

Тропа после капеллы вздыбилась. Ещё час назад она лежала пологой, петляла между валунами, а теперь шла вверх почти прямо, ступенями разной высоты, и на верхней ступени кто-то поставил деревянный крест с жестяной табличкой, и на табличке выцарапали чьё-то имя и год. Макс сделал шаг, и лямки врезались. Он остановился, перевёл дух, поправил рюкзак — и почувствовал, что тот стал тяжелее.

Не на килограмм. Он знал вес: на регистрации в Цюрихе ручную кладь положили на весы, и вышло пять двести, и он запомнил, потому что разрешено оказалось восемь, и он подумал, что можно было взять ещё. Сейчас выходило не пять двести. Он попытался посчитать, сколько это, и не смог, потому что вес не переводился в цифры: он просто тянул назад, ровно и постоянно, как тянет ребёнок, который не хочет идти и не сопротивляется, а просто становится тяжёлым.

— Макс?

Голос прозвучал сверху и далеко. Он поднял голову: Вика стояла на выступе, метрах в четырёх выше, и смотрела вниз. Она не смеялась. Она смотрела так, как смотрят на человека, который может сейчас упасть, и прикидывают, успеют ли.

Он стиснул зубы и шагнул. Подошва нашла камень — гладкий, с тонкой плёнкой пыли поверх влаги. Камень качнулся. Дальше вышло быстро и без порядка: земля ушла, тело наклонилось, руки сами пошли ловить то, чего не было, и он ударился ладонями о булыжник раньше, чем понял, что падает.

Кожа содралась сразу. Он почувствовал это не как боль, а как звук — короткий шорох, — и потом уже пришла боль, горячая, тупая, разливающаяся. Рюкзак дожал его вниз. Макс лежал лицом в камнях; пахло раздавленной хвоей и его собственным потом, и ещё чем-то кислым, и он знал, что это ссадина, хотя не нюхал.

Он закрыл глаза. Секунды три он хотел остаться — не умереть, просто лежать, потому что лежать оказалось можно, а вставать надо было, и потом идти, и потом опять.

Шаги. Быстрые, неровные, скользящие. Вика съехала по склону, задела куст, выругалась коротко и по-русски, одним словом, и Макс услышал это слово от неё впервые. Она упала на колени рядом и вцепилась ему в плечо — не осторожно, ногтями, сквозь пиджак, в мышцу. Он зашипел.

— Вставай, — сказала она. — Давай.

Она тянула, упиралась кроссовками в пыль, они ехали, она переставляла их и тянула снова. Рюкзак держал его за спину. Из её рюкзака, расстёгнутого ещё в капелле, вывалилось что-то белое и упало на камни у его лица. Шарф лежал в грязи, рядом с хвоей, и неприлично белел, и Макс увидел его и схватил.

Пальцы сомкнулись на шерсти, и шерсть колола — не жаром, не холодом, а грубостью, тысячей мелких концов, которые входили в содранную кожу. Было больно. Он держал. Он упёрся в шарф, как упор в опору, и Вика тянула, и он пошёл вверх — сначала на четвереньки, потом на одно колено, потом встал.

Они замерли лицом к лицу, близко. Он чувствовал её дыхание — рваное, горячее, с хвоей и потом. Её пальцы всё ещё держали его пиджак, ткань лежала смятой, и он знал, что под ней останутся четыре вмятины от ногтей. Он смотрел на мокрый пробор, на веснушки у виска, проступившие через грязь, на то, как у неё дёргается нижняя губа — не от плача, от нехватки воздуха, — на каплю, которая шла по шее и уходила под платок.

Она смотрела на его руки. Кровь шла из обеих ладоней, смешивалась с пылью и делалась грязной; под отогнувшимся краем кожи на левой он видел чёрные крупинки, вошедшие внутрь.

— Ладно, — сказала Вика.

Она отпустила его пиджак, наклонилась, подняла шарф, отряхнула один раз — от этого он стал только грязнее, потому что она отряхнула его о камень, — и сунула в рюкзак. Застегнула молнию до конца. Макс смотрел, как исчезает белое. Ладони горели, и в них не оказалось ничего, за что можно держаться.

Он не сказал спасибо. Он потёр ладони о брюки, чтобы убрать грязь, и от этого стало хуже, потому что грязь вошла внутрь, и он зашипел и перестал. Потом обернулся.

Тропа оставалась на месте: он видел серпантин, поворот, кусок ограждения, край капеллы, всё там, где оказалось двадцать минут назад. Но камень изменился. Булыжник внизу

стал гладкий — не мокрый, а гладкий, как шлифованный, без единой зазубрины, и уходил вниз под углом, на котором нога не держится ни в какой обуви. Макс присмотрелся и понял, что не может оценить угол: глазу не за что зацепиться.

В ущелье лежал туман. Он лежал ниже, отдельный, как вода в ванне, заполнял всё, что оказалось ниже десяти метров, и стоял ровно, без движения. В тумане что-то таилось.

Вика увидела кухню. Не больничную палату, а кухню: клеёнка в мелкий цветочек, фартук на гвозде, бабушка стоит у мойки с красными руками и плачет над разбитой чашкой, и это оказалась не та чашка, которую разбила Вика, а другая, и Вика никогда не видела этой сцены, но узнала клеёнку. Ей захотелось лечь на камень и стать камнем.

Макс увидел кабинет. Дубовый стол, портрет Сталина на стене — дед держал его не из симпатии, а как держат фотографию начальника, который может вернуться. Трубка. Дым, который не поднимается, а лежит слоем. Ему захотелось закричать в этот кабинет, что он не такой. Кабинет пустовал: дед сидел в нём один и не смотрел на Макса.

— Надо сбросить, — сказал Макс. Голос вышел хриплый.

— Что?

— Рюкзак. — Он повёл плечом. — Он тянет, его надо оставить.

Вика не ответила. Макс взялся левой рукой за правую лямку, чтобы стянуть через голову. Пальцы не работали. Он попробовал поддеть пряжку большим и указательным — там, где кожа содрана до мяса, — и от прикосновения к металлу рука сама отдёрнулась; он попробовал снова, и снова отдёрнулась; в третий раз надавил и удержал, и пряжка не пошла, потому что её затянуло под нагрузкой, и надо было сначала ослабить, а ослаблять оказалось нечем.

Он стоял и дёргал пряжку сорванными ладонями, и это выглядело как человек, который танцует. Вика посмотрела на его руки, потом на пряжку, потом отвернулась и стала смотреть в туман. Макс опустил руки. Рюкзак остался на нём.

Он посмотрел на часы: 9:58. Телефон достал правой, зажал между пальцами, разблокировал большим — экран не отзывался, потому что большой оказался в крови; он вытер его о брюки и попробовал снова. 9:47. Одиннадцать. Он убрал телефон и через полминуты достал опять, и посмотрел, и там оказалось то же самое, и убрал.

Тропа впереди сужалась. Две скалы стояли так, что между ними проходил один человек, и правую вытерли до блеска на высоте плеча — там, где её касались руками сто лет. Макс посмотрел на щель и прикинул, влезет ли рюкзак.

Вика поправила платок, узел затянула туже, чем оказался, и пошла первой. Макс подождал, пока она войдёт в щель, и пошёл за ней, и его правое плечо сразу легло на вытертый камень, и камень холодил и гладил, и держать оказалось не за что. Ветер шёл снизу, из тумана, и пах сырой землёй.

Внизу не оказалось ни звука.

Глава 5. КАПЕЛЛА 3: РОЖДЕСТВО

У входа висел спиртовой термометр, в пластиковом корпусе, прикрученный к раме двумя саморезами, один криво. Макс посмотрел на него автоматически, как смотрят на табло: плюс четыре. Он переступил порог и выдохнул, и выдох вышел белым. Он остановился, обернулся на термометр, потом посмотрел на свою руку: пар от кожи не шёл, но дыхание шло, густое, как из морозильной камеры. Он поднёс термометр к лицу и посветил на него телефоном — спирт стоял на четырёх, ровно, и корпус цел, и его прикрутили снаружи, на северной стороне, где не оказывалось солнца.

На железной стойке для свечей лежал иней. На горизонтальных прутьях он оказался толстый, войлочный, а на вертикальных почти отсутствовал, и от этого стойка казалась обведённой мелом по одним линиям и не обведённой по другим. Пахло раздавленным льдом и старым ладаном, который не поднимается к своду, а лежит внизу. Макс провёл пальцем по прутьям, и иней не растаял, а стёрся, как пыль, и под ним металл оказался сухой.

В центре стоял вертеп. Он ожидал другого: он видел рождественские витрины на Крещатике и в Цюрихе, тёплый свет, солома, овцы, пастухи с лицами добрых соседей. Здесь солома лежала, глина стояла, младенец лежал в яслях, Мария стояла на коленях, Иосиф держал посох, волхвы шли с дарами. У одного пастуха отбили и приклеили обратно мизинец, и клей выступил по шву жёлтой каплей. На ограждении висел ламинированный лист, и в нём по-английски написали, что солому меняют каждый год в январе и что пожертвования на солому принимают отдельно.

Иней лежал на соломе ровным слоем, и на глиняных лицах тоже: в углублениях глаз, в складках у рта, на бороде Иосифа. Макс наклонился и посмотрел на ясли вблизи. Соломина у самого края оказалась белая по всей длине, а не только сверху, и он тронул её ногтем, и она хрустнула.

Рука пошла во внутренний карман сама. Он посмотрел на свою руку и не остановил её. Пальцы не гнулись: он разжал кисть через силу, ногтем другой руки поддел собственный большой палец, и бумажник вышел наружу. Кожа задубела и не сгибалась пополам, он открыл её как открывают жестяную крышку.

Внутри лежали карты и сложенные вдвое купюры. Он вытащил верхнюю карту — чёрную, металлическую, тяжёлее пластиковой втрое, ему прислали её в конверте с письмом на две строки. Металл холодил. Он держал её за угол и смотрел на чип, и понимал, что чипу нужно куда-то вставиться, и что здесь некуда, и что карта в его руке сейчас — просто холодная пластина, такая же холодная, как крестик под рубашкой и как монета в кармане джинсов.

Он положил карту обратно и достал купюры. Восемьсот он снял в Цюрихе, считал в отеле, оставалось шестьсот с чем-то, он не помнил точно, потому что платил за чай и за автобус, которого не оказывалось. Бумага зашелестела сухо, отдельно друг от друга, как шелестят смёрзшиеся листья, если их тронуть ногой. Он закрыл бумажник.

Дрожь началась с челюсти. Он сжал зубы, чтобы её остановить, и от этого челюсть застучала сильнее; он разжал, и стук пошёл по всему телу, мелкий, отвратительный. Иней с ресниц попал в глаз, и он заморгал, и ресницы слиплись, и он потёр их кулаком через рукав и открыл глаза с трудом.

Макс опустил взгляд на запястье: 10:22. Достал телефон: 10:09. Тринадцать. Он смотрел на две цифры, и пока смотрел, стекло затянуло — не снаружи, а изнутри: под сапфиром, между стеклом и циферблатом, пошла мутная пелена, цифры поплыли, и он поднёс руку к самому лицу и не смог прочитать, сколько там. Он подышал на стекло. Пелена не сошла. Он сунул часы под мышку и зажал, и стоял так, и через полминуты достал, и пелена осталась на месте.

Под рубашкой холодило. Крестик лежал на грудине и стал холоднее кожи, и от него пошло пятно — не боль, а именно пятно, растущее, с чёткими краями, как от льда, если лёд приложить и держать. Макс вытащил его через горловину: распятие стёрлось до овала ещё годы назад, металл матовел.

Он решил уйти. Развернулся к двери, и ноги не пошли туда, куда он смотрел. Носок кроссовки зацепился за край каменного вертепа, за тот выступ, где кончалась солома и начинался камень. Макс упал на колени; удар пришёлся на чашечки, в паху отозвалось тупо, он зашипел, втянул воздух через зубы и закашлялся, потому что воздух холодił и его нечем оказывалось греть.

Он поставил ладони на пол, чтобы подняться, и вспомнил сразу: ладони содрали час назад, на булыжнике. Холод вошёл внутрь ссадин — не на кожу, а под кожу, в мясо, туда, где кожи нет. Он отдёрнул руки, прижал к животу под пиджак и стоял на коленях, дышал и считал выдохи, потому что больше считать оказывалось нечего.

Рядом опустилась Вика. Он не слышал шагов — почувствовал по запаху: мокрая шерсть, хвоя, и под этим тёплая кожа, тот слабый солёный запах, который есть у всех людей и который он никогда не замечал, потому что все вокруг пахли духами. Её плечо оказалось в сантиметрах от его.

Плечи у него опустились. Он почувствовал, как они опустились, и выставил правую руку, и упёрся ею в камень — не ладонью, а костяшками, там, где кожа не оказалась содранной. Костяшки заболели. Он держал.

Вика не стала смотреть на его лицо. Она смотрела на руки: он держал их под пиджаком, прижав к животу, локти торчали, и от этого он походил на человека, которому ударили в солнечное сплетение. Она расстегнула рюкзак; молния пошла с визгом, и звук в этой капелле оказался неприличный, слишком громкий, и она дёрнула сильнее.

Шарф лежал сверху. Она вынула его и встряхнула, и с шерсти посыпалась сухая грязь — та, что набилась час назад, когда он выпал на камни и она отряхнула его о булыжник. Грязь слетела почти вся, хлопьями, и на белом осталось бледное пятно, не пятно даже, а тень от пятна. Шарф оказался лёгкий. В капелле с двумя женщинами он весил как мешок; она отметила это и пошла к Максу.

Он не помогал: сидел с руками под пиджаком и не вынимал их, и ей пришлось обвести шерсть вокруг горла дважды и подоткнуть конец. Костяшки её пальцев скользнули по его коже, и кожа холодила — не тёплая, а горячая, сухая, как у больного, и под ней пульс шёл часто и мелко. Пальцы задели что-то твёрдое под рубашкой; она поняла, что это крестик, и отдёрнула руку быстрее, чем нужно.

Макс перестал дышать.

Вика сидела на корточках в тридцати сантиметрах и видела его лицо вблизи: щетина серая, неравномерная, на левой щеке гуще; под глазом мешок, и в мешке мелкая сетка капилляров; на переносице веснушки, которых он, наверное, не знал, потому что их не видно в зеркале с расстояния. Губы приоткрылись, и она видела край нижнего зуба, скошенный внутрь.

Она затянула узел. Шерсть скрипнула. Узел вышел кривой, потому что она вязала в перчатках из собственного рукава, натянутого на пальцы, и не чувствовала ткань; она хотела его перевязать и не стала. Их лица оказались близко. Она успела увидеть, как у него дрогнула нижняя губа, и он посмотрел ей в глаза, и она отвела взгляд первой и стала смотреть на его шею, туда, где шерсть легла складкой.

Она отодвинулась, села на пятки, потом встала, и между ними пошёл сквозняк из открытой двери, минусовый, и она почувствовала его сразу всей левой стороной.

— Вставай, — сказала она. Голос вышел ниже, чем она рассчитывала. — Здесь нельзя стоять.

Макс поднял голову. Шерсть колола шею, он чувствовал каждый конец отдельно, и это оказывалось невыносимо, а под этой невыносимостью шло тепло — не от ткани, а от того, что ткань держала его собственное тепло, которое до этого уходило в воздух. И ещё там оказался запах, слабый, упрямый: чужая кожа, пот, овечья шерсть. Он вынул руки из-под пиджака, поставил их на камень костяшками и встал.

Снаружи стояло плюс четыре. Макс понял это не по термометру, а по тому, что дыхание перестало быть белым, и от этого сделалось легче так резко, что закружилась голова. Туман, который стоял в ущелье, здесь кончался: он лежал ниже поворота, ровный, как налитая вода, и не поднимался. Тропа шла между валунами; на камнях лежал иней, не войлочный, а обычный, игольчатый, и в нём оказались следы — чьи-то рифлёные подошвы ушли вверх часа два назад.

В кармане джинсов монета холодила. Он проверил её через ткань, не вынимая, и убедился, что она холодная, и убрал руку.

На деревянной скамье у поворота лежал бумажный кулёк. Вика подошла и заглянула: внутри оказались жареные каштаны, штук шесть, и один надкусанный и брошенный обратно.

— Кто-то ел, — сказала она.

Макс посмотрел на кулёк. Бумага оказалась жирная изнутри, пятно проступило и по краю уже застыло. Он подумал, что человек сидел здесь и держал кулёк в руках, и что руки у него грели, и что каштан он надкусил и не доел. Пахло каштанами — от кулька, от бумаги, от масла.

Тропа повернула. За поворотом стоял камин.

Не мангал, не костровище — камин: кирпичный, с чугунной решёткой, с полкой над топкой, и над полкой шёл дымоход и обрывался в метре, без трубы, без оголовка, просто кончался кирпичной кладкой. На полке стояли рамка с фотографией и маленькие часы в деревянном корпусе. Рядом, на складном столике, лежала тряпка. В топке горело.

Макс остановился в четырёх шагах. Жар шёл густой, ровный, лёг на лицо и на руки, и ссадины на ладонях перестали болеть сразу. Он сделал шаг. Потом ещё один, и он не решал делать второй — нога пошла сама.

На каменной скамье рядом с камином сидел человек в тёмно-синем костюме-тройке. Белые туфли, ни пылинки. Газета на коленях, сложенная вчетверо. В руках чашка, от чашки шёл пар и поднимался ровно, не срываясь ветром, хотя ветер дул. Макс узнал запах раньше, чем лицо: озон и дешёвый табак с подъездной сладостью. Он сунул руку в карман — монета жгла. Не тёплая, а горячая, как только что выключенный чайник, и он сжал её и не вытащил.

Человек поднял глаза.

— Максим, — сказал он.

Так его называл только отец. Не Макс, не Максимка — с ударением на второй слог и с паузой после, будто дальше будет пункт.

— Мы всё решим, — сказал человек.

Макс стоял. Он слышал эту фразу вчера, в терминале, из телефона. Плечи у него опустились второй раз за утро, и он это заметил.

— Отдайте холод, — сказал человек. — И комнату.

Макс не спросил, какую комнату. Он уже оказался в ней: кладовка за кухней, два метра на метр, полка с консервами, он сидел на мешке с крупой, и мешок холодił и шуршал под ним, когда он переставлял ноги. Он читал этикетки, потому что больше читать оказывалось нечего, и на одной написали «горох колотый», и ниже — масса нетто и срок годности, и он прочитал это двести раз.

Ключ повернулся снаружи: два оборота, второй с заеданием. Пахло крупой и картоном.

Воспоминание отошло, как отходит берег, когда лодку относит. Он ещё видел этикетку, но уже не помнил, сколько раз прочитал.

Человек повернул голову к Вике.

— Синьорина. Отдайте вечер, когда вы поняли, что тело можно продать и стыд. Вы станете лёгкой, как в тринадцать лет.

Вика дёрнула головой и посмотрела на человека впервые за всё время.

Макс смотрел на неё и видел, как из лица уходит краска. Он посмотрел на свои руки: кровь на ладонях засохла, кожа содрана, по краям ссадины пошли белым, и он смотрел на это и не чувствовал ничего. Он попробовал вспомнить, как больно оказалось час назад, когда он падал. Не смог.

Он сделал шаг к камину.

Полено в топке треснуло три раза: короткий, длинный, короткий. Через несколько секунд оно треснуло так же — короткий, длинный, короткий. Макс остановился. Он посмотрел на кирпичи внутри топки: они оказались чистые, без копоти, ни одного чёрного мазка, и под решёткой не оказалось золы.

Он перевёл взгляд на полку. В рамке стояла фотография семьи — мужчина, женщина, двое детей на траве, — и в углу фотографии мелким шрифтом напечатали название фирмы, которая делает рамки. Он знал эту фотографию: он закупал такие рамки для офиса в позапрошлом году, партию двести штук, и в половине из них лежал именно этот снимок.

Часы в деревянном корпусе шли, секундная стрелка двигалась ровно. Он поднял своё запястье: под сапфиром стояла мутная пелена.

Вика зажмурилась. Концентратор. Он стоял в комнате у бабушки последние четыре месяца и гудел ночами: два такта вдох, пауза, два такта. Она лежала на раскладушке в коридоре, считала такты и злилась на аппарат, на бабушку, на то, что нельзя выспаться перед сменой; один раз она встала и выдернула шнур, и аппарат замолчал, и она стояла в темноте три секунды и включила обратно.

Она открыла глаза и шагнула назад. Сквозняк ударил в лицо, во рту стало железно.

Макс смотрел, как она отступает. Она отходила боком, ставя ногу назад и проверяя, есть ли камень, как ходят по льду у берега. Он опустил глаза на ладони. Ссадина на правой дёрнулась тупо, один раз, как дёргается мышца от усталости. Он подождал. Дёрнулось снова. Боль возвращалась не сразу и не вся: сначала та, что от холода, потом та, что от грязи внутри.

Он шагнул назад. Жар пошёл за ним — движения воздуха он не почувствовал, просто на новом месте оказывалось теплее, чем должно быть; он сделал ещё шаг, и стало ещё теплее. Он вытащил монету из кармана и держал её на ладони и смотрел, как под ней краснеет кожа. Потом монета начала остывать: быстро, за несколько секунд, от горячего к тёплому, от тёплого к холодному, и он чувствовал каждый переход, и когда она стала холодной, сжал её и убрал в карман.

— Нет, — сказал он.

Человек на скамье не двинулся.

— Мне холодно, — сказал Макс.

Он услышал, как это прозвучало, и оставил как есть.

Вика подошла, взяла его правую руку за пальцы, вывернула ладонью вверх, посмотрела. Грязь сидела внутри ссадины, чёрная, вперемешку с запёкшимся.

— Промыть надо, — сказала она.

— Нечем.

Она посмотрела вверх, на тропу, где между валунами уходили следы чужих рифлёных подошв.

— Найдём.

Она не отпустила его руку и пошла, и он пошёл за ней, а через двадцать метров тропа расширилась, и они оказались рядом. За спиной огонь не погас — схлопнулся, без вспышки, без дыма, просто перестал быть, и на его месте остался кирпич, чугунная решётка, полка и обрезанный дымоход. На полке не оказалось ни рамки, ни часов. Тряпка на столике лежала.

Макс обернулся. Человек сидел на скамье с газетой на коленях, чашки в руке не оказалось. Он не смотрел им вслед, он смотрел в долину, и вид у него походил на человека, который ждёт автобус и знает, что автобус будет.

Они пошли вверх. Шерсть колола шею; Макс чувствовал запах — чужая кожа, пот, овечья шерсть — и через сто метров перестал его замечать, а через двести заметил снова, потому что ветер сменился. Он сжал пальцы правой руки, корка на ладони лопнула, пошла свежая кровь, и он не стал разжимать, чтобы посмотреть. Вика шла рядом и держала его за пальцы.

На скамье у поворота остался лежать бумажный кулёк с надкусанным каштаном.

Глава 6. КАПЕЛЛА 4: СРЕТЕНИЕ

Решётку притвора откинули и привязали к столбу проволокой, и Макс, входя, задел её плечом, и проволока звякнула. Внутри пахло воском — не тем остывшим, сладковатым, что стоял в первой капелле, а настоящим, прогорклым, потому что здесь свечи горели живые. Стойка стояла не электрическая: три яруса железных штырей, на них оплывшие огарки, и под стойкой стояло жестяное ведро, и в ведре лежали срезанные ножом хвосты воска, серые снизу, и рядом на плите застыли наплывы, сбитые скребком в твёрдые гребни.

На ограждении висел ламинированный лист, и в нём по-итальянски говорилось про благословение свечей на Сретение, и ниже по-английски — что этот обряд совершается здесь второго февраля, и что в этот день свечи приносят из дома. Макс прочитал и подумал, что кто-то приносит сюда свою свечу, ставит её среди чужих, и она горит вместе со всеми, и потом огарок срезают ножом и бросают в ведро.

В центре стояла группа: Мария отдаёт, старец принимает, младенец висит в воздухе между двумя парами рук. Симеон вылеплен с полуприкрытыми глазами, как лепят стариков, и борода у него шла прядями, и на нижней пряди краска стёрлась до глины. Луч из-под купола падал ему на лицо, и в этом луче медленно ворочалась пыль.

За колонной, в глубине, что-то стукнуло. Сухо, звонко, дерево о камень; потом ещё раз, с той же паузой. Макс повернул голову — там не оказалось никого, только темнота между колоннами и край скамьи. Он подумал, что это, наверное, оседает дерево, скамьи рассыхаются, и пошёл ближе к старцу.

Он смотрел на полуприкрытые глиняные веки и на белёсую плёнку под ними, и веки дрогнули и поднялись с шелестом осыпающейся краски. Под ними не оказалось глазниц. Оказалась воронёная пустота, сухая, как замурованный колодец, и она не отражала свет, а забирала его, и луч из-под купола стал в этом месте тоньше.

Макс захотел отвести взгляд и не смог. Шея не повернулась; он потянул сильнее, и в позвонках что-то хрустнуло, и голова осталась на месте. Крестик под рубашкой наливался весом — он почувствовал, как цепочка легла на шею сзади и вдавилась, и как голова сама пошла вниз, к позе склонённого затылка.

Он поднял левую руку, чтобы вытащить крестик, и не вытащил. Часы под сапфиром стояли в мутной пелене с самого Рождества, он не мог прочитать на них ничего уже час, и вдруг они затикали.

Он услышал их впервые за утро. Ход, который всегда оказывался тише дыхания, теперь метался под сводом и возвращался вдвое громче, и он не мог понять, откуда звук — с запястья или из-под купола, и в этом звуке не оказалось секунд, там оказались минуты, все те, за которые он молчал, когда надо было говорить.

Крестик тянул. Макс упёрся правой ладонью в ограждение, и ссадина отозвалась сразу, вся, разом, и он зашипел и не убрал руку.

Потом рука сама пошла в карман. Он вытащил сложенные вдвое купюры — те, что оставались от восьмисот, шестьсот с чем-то, он знал примерно, — и швырнул их на каменную ступень алтаря. Бумага зашуршала и разъехалась, одна купюра спланировала к ногам слепого старца и легла поперёк шва между плитами.

Стук за колонной прекратился.

— Сколько? — сказал Макс.

Он не понял, кому задал вопрос. Он рванулся в сторону и схватил Вику за рукав толстовки, вцепился в мокрую шерсть у локтя и притянул к себе.

— Скажи ему что-нибудь. Ты же умеешь. Скажи, что я нормальный.

Вика повернула голову медленно. Глаза у неё оказались сухие и огромные, ресницы слиплись от пыли и пота, и на щеке под ними шла мокрая полоса. Она не вырвалась. Она разжала его пальцы по одному, как разжимают пальцы спящего, и вытерла локоть о бок.

— Он не берёт, — сказала она. — И я не беру.

Она пошла к дальнему концу зала, к стене, где стояла Мадонна, и её шаги оказались ровные и не громкие. Макс остался у ограждения, на коленях, среди разбросанных денег. Шарф на его шее колол, и он вдруг вспомнил, что она повязала его час назад, и не стал его трогать.

За колонной снова стукнуло. Ближе, чем в первый раз.

Вика смотрела на терракотовые руки Мадонны. Младенец в них изменился: пелена сползла, и колыбель заполнил свет кольцевой лампы, ровный, бестеневой, тот, который она покупала в наборе со штативом и который умел делать лицо без единой морщины.

Фреска за статуей шелушилась, и из-под извести проступила она сама — не в толстовке, а вымазанная хайлайтером, с натянутой до боли в скулах улыбкой, и протянутые руки не держали божество, а показывали товар в лучшем ракурсе.

Воздух сменился сразу. Вместо воска пошёл разогретый пластик, дешёвый фиксатор и пот — не её, а чужой, тот, что остаётся в комнате после того, как в ней долго сидели двое. За спиной у неё кто-то дышал: влажно, с присвистом на выдохе, и она знала это дыхание, потому что слышала его в наушниках двести раз, и оно всегда означало, что сейчас попросят ещё.

Она стала считать. Не деньги — минуты. У неё оказался тариф за минуту, оказался приват, оказалась подписка, и в подписку входило то, что не входило в приват, и она помнила эту сетку наизусть, как помнят таблицу умножения. Она сдавала себя по минутам, с тарифной сеткой и скидкой за пакет, и делала это хорошо.

Ей вспомнилось, как в школе на уроке закона божьего учительница сказала «тело ваше есть храм», и она записала это в тетрадь по биологии, между схемами сердца, потому что отдельной тетради не оказалось.

Желудок сделал маятниковый бросок. Волна пошла к горлу и обожгла пищевод, и Вика сглотнула, и во рту стало медно, и она поняла, что сейчас её вырвет прямо на плиты, и что она не станет наклоняться, потому что наклоняться нельзя — наклоняться это тоже ракурс.

Чёрный платок на шее сжался. Шёлк лёг поперёк шрама и вошёл в яремную ямку, и шрам под ним вспыхнул, и она не смогла ни вдохнуть, ни повернуть голову. Колени подогнулись, и она села на плиту, и обхватила себя руками, и ногти вошли в предплечья сквозь толстовку.

Она рыдала без звука и без слёз: горло выдавало сухой скрежет, а глаза оставались сухими.

Дрожащей рукой она полезла в карман и достала телефон. Экран вспыхнул мертвенно-бледным, и в трещине под лейкопластырем лицо распалось на смещённые куски: в одном осколке оказался глаз, в другом угол рта, в третьем скула, и они не сходились, сколько она ни поворачивала руку. Она повернула ещё раз, и куски съехались почти правильно, и она увидела себя целиком на полсекунды, и это оказалось хуже, чем по частям.

Она опустила телефон на плиту экраном вниз.

Макс смотрел, как её плечи вздрагивают — мелко, часто, — и не вынес этого звука, который оказался тише крика. Он шагнул к ней, и пальцы у него дрожали.

Он вытащил купюры. Они оказались мягкие, сложенные вдвое, с замятым краем, и он сжал их, и бумага хрустнула тихо, не так, как надо, и он почувствовал, как в кармане джинсов монета начала греться.

— Хватит, — сказал он. Голос сорвался. — Хватит ныть. Я могу это исправить. Я заплачу твои долги. Я куплю тебе квартиру, слышишь? Я переведу, у меня карта, мне достаточно позвонить.

Монета стала горячей. Он не вытащил руку из кармана.

Он шагнул ближе и понизил голос, и от того, что он его понизил, слова пошли сами.

— Или я могу быть с тобой. Сейчас. Я не буду как они, я буду… — он услышал, что говорит, и не остановился. — Я заплачу тебе столько, сколько ты скажешь. Просто перестань смотреть на меня так, будто я виноват.

Он стоял с шестьюстами евро в кулаке и предлагал квартиру.

Вика перестала вздрагивать. Дыхание оборвалось, и она медленно подняла голову, и в её глазах не оказалось ни слёз, ни гнева; она смотрела на него, как смотрят на насекомое в тарелке.

Она набрала в рот слюну и плюнула ему в лицо.

Плевок пришёлся на щёку, тёплый, и капля поползла по скуле к углу рта. Он почувствовал вкус — соль и железо, её кровь из прикушенной губы. Монета в кармане жгла бедро сквозь ткань.

В проёме, у откинутой решётки, стояли две женщины в дождевиках. Одна держала сложенный зонт, другая — телефон с открытой картой тропы. Они посмотрели на мужчину на коленях, на разбросанные купюры, на женщину у стены, и та, что с зонтом, сказала другой что-то короткое, и они вышли, и решётка звякнула о проволоку.

Макс поднял правую руку и провёл ладонью по щеке. Ладонь оказалась содрана, и слюна пошла в ссадину, и он зашипел, и остановился на середине движения, и рука осталась у лица, и он не знал, куда её деть. Капля, которую он не стёр, дошла до воротника и остановилась у шерсти.

Он не стал вытирать шарф.

Вика поднялась с плиты, прошла в двух шагах от него и вышла. Он видел, как она идёт, и как её рука на ходу нашла платок и подтянула узел, и как за её спиной качнулась откинутая решётка.

Макс рванулся за ней. Рюкзак дёрнулся, сместил вес, и он упал на колени второй раз за утро, и ладони ударились о плиту, и в обеих ссадинах разом открылось горячее.

Он вышел на тропу и не увидел тропы.

Туман поднялся из ущелья. Он лежал там всё утро, ровный, как налитая вода, и не двигался, а теперь шёл вверх по склону, через валуны, через скамью с бумажным кулём, и Макс смотрел, как белое закрывает подножие креста с выцарапанным именем, потом сам крест, потом скамью.

Холодом он не тянул. Мокрым стоял, и пах сырым мелом и прелой хвоей, и от него сразу отсырели плечи пиджака и шерсть на шее. Через десять секунд Макс не видел своих кроссовок.

— Вика! — крикнул он. — Вика, стой!

Звук не пошёл дальше губ. Он вышел и кончился, и Макс крикнул ещё раз, громче, и услышал только начало собственного голоса, а конец туман забрал.

Он сделал шаг и остановился. Под подошвой хлюпнуло, и он не понял, камень это или земля; он поставил ногу боком, потом попробовал назад, и сзади тоже хлюпнуло. Он вытянул руки и повернулся на месте, медленно, потом быстрее, и руки ничего не нашли, и он перестал поворачиваться.

Он стоял и слушал. Ветра не оказалось. Птиц не оказалось. Из ущелья не доносилось ничего — ни машин с серпантина, ни голосов той пары с зонтом, которая ушла вниз десять минут назад.

В кармане монета остывала. Он вытащил её и посмотрел: металл оказался тёплый, потом стал прохладный, потом холодный, и он сжал её в кулаке и не понял, зачем достал.

Он подумал о ней. Не о деньгах, не о квартире, не о том, что надо было сказать иначе, — о том, как она разжала его пальцы по одному и вытерла локоть о бок, и что она пойдёт вверх одна, и что у неё левый шнурок завязан криво и она может на него наступить.

За спиной, в капелле, стукнуло дерево о камень.

Раз. Пауза. Два. Пауза. Три.

Макс обернулся на звук и не увидел даже светлого пятна проёма. Он стоял с монетой в кулаке и слушал, как стук идёт к нему, и не мог понять, идёт ли он по плитам или уже по туману.

Глава 7. КАПЕЛЛА 5: ОБРЕТЕНИЕ ОТРОКА

Туман не висел — стоял. Макс шёл, выставив руки вперёд и растопырив пальцы, и не видел пальцев; он видел белое на том расстоянии, где рука должна была оказаться, и это расстояние оставалось одинаковым во все стороны. Он остановился и поднёс ладонь к лицу, и увидел её, когда она лежала в десяти сантиметрах, и дальше она снова становилась белым.

Пахло сырым мелом и известью. Воздух оседал на губах мелкой пудрой, и он слизывал её и чувствовал язык — шершавый, как после стоматолога. Шарф на шее отсырел и потяжелел, шерсть легла плотнее, и запах стал сильнее: чужая кожа, пот, овечий жир. Он поднял руку, чтобы распустить узел, и не распустил.

Он дёрнул левой рукой и поднёс запястье к самому лицу. Под сапфиром лежала изморозь — тонкая, иглистая, она росла от центра к краям, и циферблата под ней не оказалось видно совсем. В Рождество стекло затянуло пеленой, и он ещё мог угадать цифры; в Сретении часы затикали так, что звук метался под сводом. Сейчас они не тикали. Он поднёс их к уху и подержал, и услышал только своё дыхание, и это оказалось хуже, чем если бы они тикали.

Он опустил руку. Семь минут, девять, одиннадцать, тринадцать — он вёл этот счёт с мальчика, и счёт кончился, и он не знал, который час, и не знал, сколько прошёл, и не мог узнать.

— Вика! — крикнул он.

Звук вышел высоким, надтреснутым, и кончился сразу, не дойдя до конца слова. Он крикнул ещё раз, и из белого вернулось не эхо, а обрывок: сначала ровный баритон отца, произносящий первый слог, потом его собственный голос, но с той брезгливой интонацией, с которой он говорил в поезде про айфон.

Он замолчал и стал слушать. Ничего. Он поднял ногу и пошёл, и через четыре шага носок зацепился за корень, и он упал на колени, и ладони ударились в сырую меловую землю, и в обеих ссадинах сразу стало горячо. В кармане джинсов монета холодила, как всегда. Он вцепился пальцами в волосы и сидел так, и волосы промокли, и земля под коленями оказалась не камнем, а размокшим мелом, и он подумал, что булыжник кончился и он сошёл с тропы.

Он пополз вперёд, потом нашёл рукой валун и сел, привалившись спиной. Холод камня пошёл сквозь брюки в бёдра. Он вытащил телефон, посмотрел на экран: 10:51. Он посмотрел на запястье и не увидел ничего, и убрал телефон.

Вика стояла с закрытыми глазами и ждала.

Она ждала гула. Он жил в её ушах с четырнадцати лет, низкий, на одной ноте, и включался раньше, чем она успевала понять, что на неё смотрят; она научилась узнавать по нему, сколько людей в помещении, раньше, чем открывала глаза. Она стояла, вжав подбородок в воротник, и держала мышцы шеи готовыми к спазму, и считала секунды, и на восьмой поняла, что считает уже давно, а гула нет.

Она открыла глаза. Туман стоял белый и мокрый, и он не смотрел на неё. Она повернула голову налево, потом направо, и ничего не включилось. Она подумала, что оглохла, и щёлкнула ногтем у уха, и услышала щелчок, и услышала, как далеко в хребте с глухим стуком упала на камни шишка.

Рука пошла к горлу. Пальцы нашли узел — тот, двойной, который она затянула туже на выходе из капеллы, — и узел лежал мягкий. Шёлк отсырел и лежал на ключицах свободно, и она поддела петлю и потянула, и платок соскользнул и упал на мокрый гранит, и его сразу не стало видно.

Она не стала искать.

Воздух коснулся шеи. Она втянула голову в плечи и подожгла себя изнутри ожиданием: сейчас шрам вспыхнёт, как вспыхивал всегда, когда его касался воздух или ткань или взгляд.

Шрам молчал. Она провела по нему подушечкой пальца — тонкий, чуть выпуклый, поперёк, — и это оказалась просто кожа, и под ней шла кровь, и она почувствовала, как под пальцем идёт пульс.

Она вдохнула. Рёбра разошлись, и воздух вошёл до низа, и она закашлялась, потому что до низа он не входил уже давно, и откашлялась, и вдохнула снова, и на этот раз не закашлялась.

Она сделала шаг и услышала гравий. Потом ещё шаг, и ещё, и поняла, что идёт прямо: она не сверялась, не оглядывалась, не выбирала, где поставить ногу, и подошва сама находила камень. Так она ходила только дома, ночью, в темноте, от кровати до кухни.

Через двадцать метров белое кончилось краем. Она увидела тёмное пятно, потом откос, потом деревянную дверь в проёме, и рядом с дверью на камне прибили жестяную табличку, и эмаль на ней сошла местами, и читалось V MISTERO GAUDIOSO (пятая радостная тайна).

Она обернулась и увидела Макса. Он сидел на валуне в трёх метрах от неё, спиной к камню, и смотрел мимо неё, и она поняла по тому, как он сидел, что он её не видит и не видел, наверное, всё это время.

Она подошла и села на корточки перед ним, и ткань толстовки шуршнула, и он дёрнулся всем телом.

Он увидел её и приготовил фразу. Она лежала готовая, отточенная, из тех, что бьют первой; он держал её в голове, пока смотрел на мокрый пробор, на капли в ресницах, на то, как у неё ходит горло при дыхании.

Она молчала и смотрела на него, и во взгляде не оказалось льда. Он ждал льда — того, что лежал в капелле перед плевком, — и не дождался, и фраза сделалась не нужна, и он не знал, куда её деть. Он открыл рот и выдохнул, и выдох вышел со свистом, и плечи опустились сами.

И тогда он увидел её шею. Голую, без платка, с тонкой розовой линией поперёк горла. Он смотрел секунду и отвёл глаза в сторону, на камень.

Она встала и пошла к двери, и он поднялся и пошёл за ней, и в дверях ему пришлось повернуться боком, потому что рюкзак не проходил прямо.

Внутри царили темнота и сухость. Пахло воском и мокрой известью, и после тумана темнота казалась плотной, как вода; они стояли у входа и ждали, пока глаза привыкнут, и постепенно из серого проступила группа.

Их оказалось много. Полукругом сидели и стояли старики с книгами, у одного книга лежала на коленях и он держал её раскрытой ладонью, у другого лежал свиток, третий наклонился вперёд и поднял палец. В центре, на возвышении, сидел мальчик лет двенадцати, и ноги его не доставали до пола, и одна пятка лежала подвернута под себя. У входа, сзади всех, стояли мужчина и женщина, и женщина стояла в дверях, и её вылепили в движении — с приподнятой рукой, которой она только что отодвинула занавес.

На ограждении висел ламинированный лист. Макс подошёл и прочитал по-английски: мальчик остался в Иерусалиме, родители узнали об этом через день пути, вернулись и искали его три дня и нашли в храме, среди учителей. Ниже значилось, что группа насчитывает более тридцати фигур и что реставрация лиц проводилась в тысяча девятьсот шестьдесят каком-то.

Макс поднял глаза на мальчика.

У мальчика лежала стрижка с пробором, который мать делала ему расчёской, смоченной водой, и который он ненавидел. У мальчика лежали колени в ссадинах, потому что он лазил по гаражам, и правая пятка лежала подвернута под себя, потому что он всегда так сидел. И у мальчика оказалось лицо, которое Макс видел на фотографиях в отцовском кабинете: двенадцать лет, каменные шахматы с бархатной подложкой на коленях, и человек напротив говорит «ты хорошо считаешь, Максим, это редкое качество», и он весь вечер ходит и повторяет это про себя.

Макс смотрел на женщину в дверях. Она стояла с приподнятой рукой и не входила, и он ждал, что она войдёт и мальчик обернётся.

Мальчик не оборачивался. Он смотрел на старика с поднятым пальцем и слушал, и лицо у него лежало внимательное и довольное, и Макс узнал это выражение, потому что оно лежало у него на всех фотографиях с награждениями.

Он стоял и ждал, и женщина не входила, и мальчик не оборачивался, и через какое-то время Макс понял, что стоит и смотрит на глину, и что глина не двигается, и что он смотрел, наверное, минуту.

Он сделал шаг к мальчику. Хотел подойти ближе, посмотреть на руки, на книги, на то, как он сидит.

— Макс.

Голос Вики прозвучал тихим, но он обернулся. Она стояла у выхода и смотрела на него.

— Пойдём.

Он посмотрел на мальчика ещё раз. Мальчик не обернулся. Макс повернулся и пошёл к выходу.

Она стояла рядом и смотрела на группу, и лицо у неё лежало спокойное и скучающее, как у человека, который смотрит на витрину с посудой.

— Ты что-нибудь видишь? — спросил он.

— Глину, — сказала она.

Она сказала это без вызова и без интереса и пошла к выходу, и он постоял ещё секунду и пошёл за ней, и на выходе прочитал на том же листе нижнюю строку: следующая капелла — шестая, первая скорбная.

За капеллой тропа выровнялась и через десять метров упёрлась в арку.

Арка стояла из травертина, пористого, в мелких кавернах, и вся покрыта конденсатом: капли собирались в тяжёлые слёзы и срывались, разбиваясь о мох у основания с глухим шлепком. На замковом камне вырезали герб и дату, и последние две цифры даты стёрлись, и в кавернах сидела вода. Макс провёл рукой по кладке, и рука стала мокрая и холодная, и он вытер её о брюки, и на брюках осталась серая полоса.

Под аркой, в нише, стоял источник. Вода шла не струёй, а падала из расщелины в кладке, отдельными каплями, которые срывались часто и попадали в каменное корыто с чистым, почти болезненным звоном; из корыта вода уходила в проточенный желобок и дальше в мох. Кружки не оказалось. На краю корыта лежала монета в двадцать центов, сухая, потому что лежала на выступе выше уровня воды.

Вика не стала пить. Она сложила ладони лодочкой, зачерпнула и плеснула себе в лицо.

Макс смотрел, как с неё идёт вода. Она стояла серая. Она шла по щекам, по шее, капала с подбородка на толстовку, и в ней лежала та пыль, что набилась за утро — с плиты в капелле, где она сидела, с булыжника, где она съезжала к нему на четвереньках, с тропы. Под серым открывалась кожа: красная, живая, с веснушками, которых он раньше не видел на этом месте, потому что они лежали под грязью.

Она вытерла лицо рукавом и посмотрела на него, и он отступил на полшага, потому что глаза у неё оказались ясные до неприличия.

Она снова зачерпнула и протянула ладони к нему. Вода дрожала в пальцах и утекала между ними, и она держала руки на весу и не подходила.

Макс наклонил голову и закрыл глаза.

Вода ударила в лицо, как спирт в открытую рану, и он втянул воздух через зубы: она попала в ссадины на ладонях, когда он рефлекторно поднял руки, и в трещину на скуле, о которой он забыл. Он стоял, согнувшись, и ждал, пока пройдёт, и не вытирался.

Когда он открыл глаза, он видел мох.

Он видел отдельные стебельки, и на каждом спорофит на ножке, и капельку на конце ножки; он видел, что каверны в травертине разной глубины и что в глубоких вода стоит, а в мелких уже высохла; он видел три капли на замковом камне и знал, что четвёртая сорвётся

через секунду, и она сорвалась. Он услышал отдельно воду в желобке, отдельно мох, отдельно свои ладони.

Он прислушался к запястью. Ничего. Он прислушался к голове. Тоже ничего, и он поймал себя на том, что слушает, и перестал.

Туман отступил. Он не рассеялся — он ушёл вниз по склону, как уходит вода из ванны, и открыл сначала арку целиком, потом валуны, потом двадцать метров тропы, и на этих двадцати метрах не лежала тропа: стояла лестница, грубо высеченная в скале, ступени разной высоты, вытертые до блеска посередине и мокрые по краям.

Вика вытерла лицо рукавом ещё раз и посмотрела вверх.

Макс отряхнул колени. Брюки на коленях лежали протёртые и в меловой грязи, и он отряхнул их дважды, и грязь не ушла, и он перестал. Он поправил лямки рюкзака и почувствовал вес — тот же, что лежал, пять двести плюс то, что добавил в него не он.

Где-то за гребнем застрекотал винт. Ровно, без изменения тона, и не ближе, чем раньше.

Макс посмотрел на её шею — на розовую линию, которую она не прикрыла, — и на лестницу, и поставил ногу на первую ступень.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.